ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО

ГОГОЛИАНА
И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Гоголиана» и «Тайная история творений» – две книги под одной обложкой, написанные Владиславом Отрошенко в феноменальном для отечественной литературы жанре. Это сплав высококлассной художественной прозы и сюжетной эссеистики – произведения, в которых вымысел предстает как реальность, а достоверные факты производят впечатление фантасмагории. Критики отмечают не только их жанровую уникальность, блестящее языковое исполнение, но и глубину, называя их «настоящими интеллектуальными детективами», разворачивающимися на трех уровнях – художественном, философском, филологическом. Не случайно эти тексты при появлении в российской периодической печати привлекли внимание «высоколобых» литературных и культурологических журналов за рубежом. Эссе-новеллы, входящие в состав книг, переводились и публиковались в Италии, Израиле, США, Сербии, Франции и других странах. В то же время они удостоились по голосованию пользователей российского Интернета первого приза общенационального литературного конкурса «Тенета-Ринет» и дважды – в 2010 и 2011 годах – вошли в финал премии «Чеховский Дар» в номинации «Необыкновенный рассказчик».

- Владислав Отрошенко
  - Гоголиана
    - Гоголь и паспорт
    - Гоголь и рай
    - Гоголь и воздух
    - Гоголь и ад
    - Гоголь и призрак точки
    - Гоголь и Гоголь
    - Гоголь и смерть
    - Гоголь и элементарные частицы
  - Тайная история творений
    - Последняя матаморфоза Овидия
    - Сумасшествие Мировой Воли
    - Подвиг Катулла
    - Встреча в Тамбове
    - Последнее озарение Пушкина
    - Книга для комментариев на скрипке
    - Сны и ангелы Тютчева
    - Разногласия Матфея и Луки
    - Два ожерелья

        - Кречинский против бога Вишну
        - Апология беспричинного обмана
        - Писатель и пространство[29]
        - Дело Бренты
        - L’ombra di Venezia
        - Уроки того и этого света
    - История песен
        - Comites [33]
        - Poena[37]
        - Puella defututa[39]
        - Novem[42]
        - Gemelli fratres[43]
    - Языки Нимродовой башни
        - I. Язык народа йон
        - II. Язык народа зибур
        - III. Язык народа югурунд
        - IV. Язык народа цоог
        - V. Язык народа орзак
        - VI. Язык народа качивикэснакбуйдовир
        - VII. Язык народа кивоз
        - VIII. Язык народа чудлай
        - IX. Язык народа зёльк
        - X. Язык народа удбор (несуществующего)
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

Владислав Отрошенко
Гоголиана и другие истории

Гоголиана

Гоголь и паспорт

Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 года, когда Гоголю вдруг явилась на ум необыкновенная мысль – испросить себе у императора Николая Павловича… заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, ко Гробу Господню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо.

> «Всемилостивейший Государь!
>
> Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть, неуместной просьбой».

Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю I.

Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность – не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший «Мертвые души». Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы, да негусто расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: «Извольте предъявить ваш паспорт, сударь!»

Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом.

Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и

благополучно ехать дальше. Но Гоголь не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону. И вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется.

Полицейский уже менее учтиво и менее отстранение, пытаясь вникнуть удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своем. «Не дает, да и только», – досадливо вспоминает издатель «Москвитянина» Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. Он тоже (напряженно хмурясь и краснея) не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык менялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по-русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно-нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойным глазами прямо в глаза полицейскому, он, «на чем свет стоит», как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом «императора австрийского, его министерство», потом «всех гонфалоньеров и подест» – словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущала и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже ни к кому в особенности: «Господа… попрошу… паспорта…». А Гоголь тем временем, не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он вспрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа…

паспорта…»

Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая его даже выпускать из рук. Хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами». Всё так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе. И об этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. «Теперь – представьте себе, – пишет Погодин, – что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: „На тебе паспорт, ешь его!“»

А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину, и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад – отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя.

Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненный великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский – не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!

Послание далось Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, оно было очень коротким и цельным. Гоголь быстро – в два предложения – перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал:

«Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о Высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я».

В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности:

«Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!

Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами верноподданный Ваш

Николай Гоголь».

В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе… Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков:

«Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось».

Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов…

Но если бы произошло? Или скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам – и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют?…

Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами. А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть, и гоголевской гордыне.

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже – в качестве чистого первообраза всех паспортов на свете – платоновским небесам.

Гоголь и рай

Вечный город не вдруг приобрел для Гоголя свойства рая. Когда он впервые увидел Рим, город показался ему неожиданно маленьким и захолустным. Поначалу Гоголь даже «не мог дать себе ясного отчета» в своих впечатлениях. Что это? Где великий и грозно блистательный Рим? Где следы его сиятельного могущества?… Какие-то узкие, темные улочки, гирлянды застиранного белья, монахи верхом на ослах, полуразваленные тележки; по городу бродят козы, объедая листья с кустов, выросших кое-где прямо из стен обветшалых домов, – повсюду знаки будничной, мирной ничтожности.

Впрочем, и сама Италия, впервые увиденная Гоголем ранней весной 1837 года по пути в Рим, не обещала его душе ничего райского, небесного – ничего такого, чего бы душа не ведала в земной жизни. «Что сказать тебе вообще об Италии? – писал он Александру Данилевскому. – Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампады в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».

Рима Гоголь достиг 26 марта 1837 года, накануне Пасхи. Он снял квартиру на Via Isidoro, 17, близ площади Барберини. Это было в нескольких минутах ходьбы от дома № 126 по Via Felice, буквально – *Счастливой улице*, где верхним – третьим – этажом владел «сухой краснощекий старичок» по фамилии Челли. Именно в этом доме, на этаже старичка Чел-ли, Гоголю суждено было обрести постоянный адрес в пределах «чудного, прекрасного далека», или, как сказали бы эдические поэты, «прекрасного Мидгарда» – светлой и упорядоченной области мира, очищенной богами для счастливого обитания смертных от великанов, карликов и демонов.

Однако тогда, во время своего первого приезда в Рим, Гоголь еще не помышлял ни о каком постоянном адресе в Вечном городе. Город он вскоре тщательно обследовал и нашел в нем все то, что и предполагает найти взыскательный иностранец, требующий от Рима великолепия и величия. Он исходил вдоль и поперек Римский Форум, то и дело останавливаясь с запрокинутой головой перед Аркой Септимия Севера, зданием Курии и колоннами храма Сатурна; обошел в задумчивом изумлении неоглядные термы Каракаллы; вдоволь, со всех сторон,

налюбовался заслоняющим полнеба Колизеем; отыскал могучий Пантеон Агриппы, опутанный лабиринтом тесных улиц; поднялся с подзорной трубой на Капитолий; и, обувшись в мягкие сапоги, излазил руины императорских дворцов на Палатинском холме. Рим уже не казался Гоголю маленьким: «…чем далее, он мне кажется бóльшим и бóльшим, – писал он Данилевскому, – строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет». Собор же Святого Петра, где Гоголь отслушал пасхальную обедню, представился ему уже просто-напросто беспредельным.

Это были сильные, но все же предсказуемые и даже обязательные впечатления. Никаких сверхобычных ощущений земное пространство, занимаемое Римом, в Гоголе тогда не вызвало. Разве что «звезды ночи» как-то по-особенному поразили его. Гоголь заметил, что они горят над Римом не так, как везде: «Блещут здесь необыкновенным блеском», – сообщил он Данилевскому. Но в этих словах, пожалуй, сказывалась лишь чистая поэзия.

В июне 1837 года Гоголь спокойно – без сожаления и грусти, без страха расстаться с ним – покинул Рим. Он уехал в Заальпийскую Европу. Несколько месяцев он переселялся там из города в город, из страны в страну. Жил то в Бадене, пользуясь водным лечением, то в Женеве. Навещал друзей во Франкфурте и Страсбурге.

Питаясь новыми впечатлениями, он почти не вспоминал о Риме – не держал его в сердце, а только сухо, между делом, сообщал матери, что, вероятно, снова поедет в Италию, в Рим – может быть, в августе, а может быть, в сентябре или в октябре, – словом, тогда, когда найдет нужным.

Однако в начале сентября, в Женеве, по какой-то, пока еще неясной, причине он вдруг почувствовал, что должен ехать в Рим немедленно – должен мчаться туда сию же минуту! Но сию же минуту – было невозможно. В Италии вспыхнула эпидемия холеры. Все подступы к Апеннинскому полуострову были перекрыты карантинными заставами. Гоголя охватило отчаяние. Он ощутил себя посреди Европы беспомощным пленником, каторжником, ссыльным. Все вокруг стало действовать на него угнетающе. Швейцария и Германия, которыми он еще недавно восхищался, вызывали у него теперь лишь тоску и отвращение: «Низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами». Ему тяжко было вдыхать сам воздух Женевы, которая ему теперь представлялась уже вовсе и не Женевой. Ему чудилось, вспоминал он потом, что он находится «в Олонецкой губернии» и слышит «медвежье дыхание

северного океана».

В средине октября 1837 года, как только карантины были сняты с альпийских дорог, Гоголь был в дороге.

Через несколько дней он въехал в Италию. И в этот второй приезд, очутившись в ее пределах, он обнаружил в своей душе нечто такое, что было больше, чем обязательное восхищение прекрасными видами, и больше, чем чистая поэзия. «Наконец я вырвался, – писал он Жуковскому. – Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине…»

К концу октября, проехав через Милан и Флоренцию, Гоголь прибыл в Рим. Город, увиденный им во второй раз, не то чтобы ошеломил его своим «чудным великолепием»; он привел его в состояние такой светлой, спокойной и прочной радости, какая обещана безгрешным душам священными писаниями Запада и Востока лишь за пределами земного бытия – на подлинной родине. Именно о такой – метафизической – родине толковал Гоголь в письме к Жуковскому, как явствует из другого его письма, которое он в апреле 1838 года отправил из Рима своей петербургской ученице Марии Балабиной, датировав его 2588-м годом от основания города. «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, – писал он ей, – о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет».

В Риме он не нашел никого из тех приятелей-соотечественников, с которыми изучал город в свой прошлый приезд. Да он и не нуждался теперь ни в ком. Он поселился на Via Felice (ныне Via Sistina) у Челли, обретя здесь неизменный римский адрес. С этого времени он настойчиво, во всех своих письмах, стал говорить о Риме и Италии – *мой* и *моя*. И стал ревновать к Риму любых *форестьеров* – иностранцев, – в особенности же русских, которых ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздраженно выражался, целыми ватагами. Ему невыносимы были их высокомерно сердитые разговоры о нечистых улицах Рима, о его жалкой дряхлости, об отсутствии в нем развлечений, о грубой неопрятности монахов, шатающихся по городу в таком же непозволительном множестве, как и домашний скот, и о том, что все итальянцы подлецы и

обманщики. Но еще больше ему были невыносимы те форестьеры, которые позволяли себе восхищаться Римом, просто Римом, неким каменным городом на юге Европы, пусть древним, пусть необычным, пусть даже повлиявшим на судьбы европейской цивилизации, но все же таким городом, в который можно когда угодно приехать, хотя бы и к Светлому Воскресенью, – поглазеть на пасхальные процессии, на Папу в Святом Петре, на диковинные бородки немецких скульпторов, прогуливающихся в огромных шляпах с обвислыми полями по Piazza di Spagna, постоять в мечтательной задумчивости среди живописцев, подкарауливающих в бархатных блузах закаты на Авентинском холме, поесть макарон с ароматным соусом в шумных остериях на Via del Corso, прокатиться до Альбано по римской Кампанье в экипаже говорливого веттурино, – и в любое время, хотя бы и на Фоминой Неделе, благополучно уехать. Нет, *такого* Рима или, лучше сказать, Рима *как такового* для Гоголя уже не существовало. Город Рим и страна Италия превращались для него во что-то другое, о чем он в письмах к друзьям говорил то с религиозным трепетом, то со страстной тоской, то с молитвенным воодушевлением.

«О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, – счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость», – твердил он Шевереву.

«Рим! прекрасный Рим! Ты помнишь ли его? знойную Piazza di Spagna, кипарисы, сосны, Петра и дуб Тасса…» – тревожил он Данилевского.

«Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь…» – изъяснял он князю Вяземскому.

Спустя полгода после второго приезда в Рим Гоголь впрямую заговорил о рае.

«Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай», – написал он 2 февраля 1838 года из Рима Александру Данилевскому. И в словах этих – *небо* и *рай* – не было никакого художества. Рим действительно с некоторых пор стал воздействовать на чувства Гоголя так, что он ощущал себя умершим для всех «других углов мира» и воскресшим в раю, который принял образ города Рима. Рим окончательно превратился для Гоголя в город-рай – в Небесный Иерусалим, в Калапу, в Дар-Ассалам – словом, в город без печалей, времени и смерти. В этом истинно вечном Риме – правильней было бы его

называть *Небесным Римом* – и жил теперь на *Счастливой улице* Гоголь. Само восприятие действительности подвергалось здесь у Гоголя таким изменениям, которые делали это восприятие в высшей степени светлым и устойчиво радостным, то есть пригодным исключительно для неуязвимого обитателя рая. В пределах Рима Гоголь обретал способности, которые были ему недоступны ни в какой другой части земного пространства. «Он сам мне говорил, – сообщает в автобиографических записках его друг, фрейлина двора Александра Смирнова, – что в Риме в одно время он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления». О том же – о дарованной ему Богом в Риме райской неуязвимости для мук и тягостных чувств – писал он Марии Балабиной в сентябре 1839 года, говоря о себе в третьем лице: «Можете ли вы понять те ужасные упреки, те терзания адские, невыносимые, которые он слышит в себе. Теперь, вообразите, над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие Бога и бросило его (за что – право, не понимаю, ничего достойного не делал он), бросило в страну, в рай, где не мучат его невыносимые упреки, где душу его обняло спокойствие, чистое, как то небо, которое теперь окружает…»

Небо в Небесном Риме было повсюду. Оно было над Гоголем и вокруг Гоголя. Небо было в Гоголе, и Гоголь был в небе. И небо несло забвение мукам. Такое забвение, какое может дать душе только город-рай. «Право, странно, – рассуждал он в одном из писем к Данилевскому, – кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыться: забыть страдание, забыть прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть воспоминание, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не властны и не касаются души».

Такими свойствами обладал для Гоголя его Небесный Рим. Там у него было все: и счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надежный страж, свой апостол Петр – послушный старичок Челли, наученный Гоголем лгать всякому и во всякое время, что Гоголя дома нет, – была та «полная действительность блаженства», о которой говорит в своих «Духовных проповедях» Мейстер Экхарт, утверждая, что она явится «по окончании этой жизни, когда мы освободимся от тела».

Покинуть Рим когда угодно Гоголь теперь был не в состоянии. При одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в отчаяние. Для него это было равносильно

перемещению с небес на землю или из светлого Мидгарда в мрачный Утгард, туда, где «снега, подлецы, департамент», карлики, демоны и так далее. «Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю», – жаловался он Марии Балабиной, отправляясь в Германию. Поездка же в Россию представлялась Гоголю и вовсе невозможной. Не потому, что снегов в России больше и демонизм департаментов явственней, а потому, что блаженный Рим-рай мог показаться абсолютно призрачным из глубины ее студеного пространства, где «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь», как говорит в «Ревизоре» его городничий. «Неужели я еду в Россию? – испуганно изумлялся Гоголь 10 сентября 1839 года в письме к Шевереву. – Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить?» Но отвык он и от земли; и боялся кроме того не вернуться на небеса. И потому всячески оттягивал и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда его упорно зазывали родные и друзья распутывать дела – семейные, издательские, помещичьи. Гоголь отписывался, как мог. Близких – в особенности мать и сестер – стращал своим нездоровьем, говоря, что только в Италии все болезни от него отступают, дальних – издателей, журналистов – умолял пощадить его дар, уверяя, что писать о России он может только в Риме. И то и другое было правдой.

Правдой, впрочем, было и то, что Гоголь, приехав в конце сентября 1839 года в Москву, вновь услышал в себе все «терзания адские, невыносимые», о которых забыла его душа. Те, кто видел его в Риме, – в России не узнавали его. Вглядываясь в пришельца, подавленного, нелюдимого, капризного, одетого в темные одежды, они пытались найти в нем сходство с тем небесно-римским *signore Nicolo*, который носил широкополую белую шляпу, белые перчатки, белый же щегольский сюртук поверх синего бархатного жилета; который был жизнерадостно-бодрым, шутливым, подвижным; который в лучах утреннего солнца, поспешая в кофейню «Greco» на Via Condotti, проворно спускался от церкви Троицы по Испанским ступенькам, на ходу фехтуя в воздухе сверкающей тростью; который для забавы своих спутников вдруг принимался выплясывать и петь малороссские песни в дремотных переулках Рима; который во время прогулок одаривал друзей апельсинами и охотно вступал в озорные скандалы с уличными торговцами… Но сходства не находили. Гоголь же не находил себе места, помышляя только об одном – о возвращении. «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому, – писал он с унылой таинственностью издателю

„Современника“ Петру Плетневу. – Грустно и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя: мои сестры. Я должен устроить судьбу их. Без меня (как ни ворочал я это дело) я не находил никакого средства. Я на самое малое время, и как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим».

Обходиться без Рима – находиться вне Рима – он уже не мог, полагая, между прочим, что Рим должен обладать для всякого теми же небесными свойствами, которые открылись ему. «Бросьте всё! и едем в Рим, – заклинал он Плетнева. – О, если бы вы знали, какой там приют для того, чье сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу. Боже, Боже! Боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим. Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном пути к тебе».

Но была еще одна вещь, без которой Гоголь не мог обходиться, и если о ней не сказать, картина гоголевского рая будет не то чтобы неполной, а просто ошибочной. Дорога! Она оказывала на Гоголя такое же чудесное воздействие, как и Рим.

Известно, что самая тонкая и самая волшебная работа вдохновения, связанная с зарождением замысла, у Гоголя чаще всего совершалась в дороге, где он, по его признанию Шевереву, «обделывал» и все свои сюжеты. Но дорога еще спасала его от всех душевных мук, исцеляла от всех болезней, пробуждала от «нервического усыпления», даровала ему покой и счастье. И в этом она успешно соперничала с Римом.

Упованиями на дорогу, тоской о дороге, мольбами к Богу о ниспослании ему дороги полны его письма. Порою жажда дороги доходила у Гоголя до того, что и сам Небесный Рим меркнул в его глазах! Так было, например, в октябре 1840 года, когда он писал из Рима Погодину: «Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот всё мне хотелось броситься или в дилижанс или хоть на перекладную».

Где будет пролегать его дорога и как долго она будет длиться, Гоголю было совершенно безразлично. «О, если бы я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня», – писал он Сергею Аксакову; и о такой же, очень дальней, дороге толковал Погодину: «Мне непременно нужна дорога. Дорога

далекая. Как это сделать?» Не безразлично ему было только одно: на любой дороге он должен был знать, что он едет в Рим, пусть даже через тундру, через Камчатку, – но в Рим, ибо для него не было ничего более чудесного и прекрасного, чем возвратный путь в Вечный город, – в этом он клялся Плетневу в письме из Москвы от 27 сентября 1839 года.

Год спустя, описывая свое возвращение в Рим в письме к Погодину, Гоголь высказал сожаление, что в Риме он очутился слишком быстро. Это случилось после того, как он едва не умер в Вене. Во всяком случае, ему почудилось, что он умирает. Он даже уже составил завещание. «Но умереть среди немцев мне показалось страшно, – пишет он. – Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только».

Да, в Риме Гоголю нужна была дальняя дорога, а в дальней дороге нужен был Рим. Рим и дорога нужны ему были одновременно. И в этом было какое-то мучительное противоречие. Однако райское блаженство противоречий не допускает. Мало того, оно даже не противоречит земной жизни, ибо рай, как открыл самый строгий и объективный исследователь небесных сфер Эммануил Сведенборг, носит сугубо индивидуальный характер: к чему была склонна душа при жизни, в том и будет за гробом состоять ее рай.

Теперь, наконец, мы можем дать точное описание гоголевского рая.

Он выглядит так:

Гоголь вечно едет в Вечный город по нескончаемой дороге.

Гоголь и воздух

Гоголь воздух любил. Много думал о нем, писал. Воздух не был для него чем-то неощутимым, прозрачным, бесцветным, однородным. Во время всякого движения воздух для Гоголя очень заметно менялся, как меняются по пути ландшафты. Однажды он пожаловался Михаилу Погодину, что дорога из Австрии в Италию не подействовала на него исцеляюще. «Тут мало было *перемен воздуха*»[1], – объяснял он. Гоголь никогда не говорил, что он *дышит* воздухом. Он его «пил», «втягивал», «слышал», чувствовал на себе его «теплые поцелуи», видел его «невидимый небесный блеск». И потому он ощущал *перемены воздуха* так же явственно, как перемены ландшафтов. Чем? Всем: глазами, ушами, языком, кожей, носом. О носе, конечно же, надо сказать отдельно.

Господь не случайно наделил Гоголя острым и выдающимся во всех смыслах носом. Ни один писатель на Земле не имеет в качестве наиболее узнаваемого символа своей внешности какую-либо единственную и отдельно взятую часть своего лица. Мы не можем – во всяком случае, у нас нет на то серьезной причины – рассуждать обособленно, например, о маленьком скошенном подбородке Пушкина или о больших, по-детски оттопыренных ушах Кафки.

О носе Гоголя можно – и до́лжно – говорить серьезно. Хотя бы потому, что этот знаменитый нос – цепкий, тонко чувствующий, бросающийся в глаза и в ум при одной только мысли о Гоголе, – этот нос наглядно выражает важнейшее свойство физической природы Гоголя – ее устремленность к воздуху, некоторую даже жадность на воздух, доходившую у Гоголя до веселого помешательства. «Что за воздух! – писал он весной 1838 года о римском воздухе Марии Балабиной. – Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри… Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Примечательно, что с носом майора Ковалева произошла обратная метаморфоза. У носа появились и глаза, и руки, и ноги, и мундир статского советника. Но сущность метаморфозы была та же – приобретение носом, этим главным органом, которым Гоголь дегустировал переменчивый воздух планеты, бытийной самостоятельности. Здесь следовало бы, конечно, сказать, подчиняясь во всем метафоре: дегустировал *воздухи*. Но только

Гоголю, глубоко чувствовавшему яркую разнообразность воздуха, его пеструю раздробленность, дано было свободно – без особого умственного усилия, необходимого для снятия оков грамматики, – употреблять во множественном числе существительное *воздух*, которое относится к разряду *singularia tantum*. Фрейлине двора Александре Смирновой он, например, так описывал воздух Парижа, сообщая о своей поездке туда зимой 1845 года: «Но Париж, или, лучше воздух Парижа, или лучше, испарения *воздухов* парижских обитателей, пребывающие здесь наместо воздуха, помогли мне не много и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогою…»

Наделенный таким зрением, которое способно было расцвечивать и уплотнять воздух до непроницаемости, до явной вещественности, он мог видеть «играющую пестроту домов, церквей и дворцов» не *в* воздухе, а *на* воздухе – «*на* тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною» («Рим»).

Воздух для Гоголя был самой ощутительной субстанцией мироздания, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что он с полной естественностью, не давая даже почувствовать необычности своей речи, применял по отношению к воздуху такой глагол, как «пользоваться». *Пользоваться воздухом*. Он так и написал однажды матери, объясняя ей, почему он не может теперь вернуться домой из Италии: «Благодетельный воздух этой земли действует спасительно. И только долговременное *пользование им* может одно меня совершенно освободить от моей болезни».

Каким-то особым чутьем он чувствовал не только тот воздух, который был вокруг него, но и все другие воздухи мира, отдаленные от него. Именно поэтому он смог однажды поставить общий диагноз планетарному воздуху. Это случилось 2 января 1844 года. Гоголь жил тогда в Ницце – «засел в Ницце», как он писал друзьям. Он скрывался там от дурной погоды, от неотступных дождей, преследовавших его в ту зиму по всей Европе. В Ницце, где он поселился на берегу, в тихом предместье, «в виду небольшого хвостика моря», погода стояла превосходная. В воздухе не было ни малейшего ветерка. С утра до вечера светило яркое солнце. Стараясь вести «жизнь уединенную и преданную размышлениям», Гоголь нарочно избегал частых встреч с русскими знакомыми – с семействами Виельгорских, Мещерских, Соллогубов, которые жили в Ницце. Он даже не давал себе волю часто видеться со своим задушевным другом – фрейлиной Смирновой, потому что в Ницце он намеревался жарко работать. И намерение это было столь твердым, что он, по

его собственному выражению, готов был даже «насильно заставить себя что-нибудь сделать». Но несмотря на все старания, подкрепленные чудесной погодой и задумчивым уединением, работа не шла. Ему не писалось. Что-то неясное, неуловимое наводило на него тоску и томление, мешало «как следует работать».

2 января Гоголь, как всегда, вышел рано утром к морю, чтоб посмотреть на него вблизи. Он постоял на берегу; вслушался, вгляделся в морскую утреннюю даль, шевельнул тонкими носовыми крыльями. И вдруг понял, в чем дело. Воздух! Что-то случилось в ту зиму с воздухом мира.

Возвратившись домой, Гоголь написал короткое послание поэту Николаю Языкову, в котором среди прочего сообщил:

> «Чувствую, что неспокойство духа, смешанное с непонятною тоскою, есть ныне болезнь повсеместная, следствие какого-то тягостного расположения в воздухе».

Кроме Языкова и самого Гоголя, который вскоре уехал из Ниццы все в той же беспробудной тоске, больше никто не знал об истинном положение дел в воздухе.

Гоголь и ад

Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь – в аду.

Но все же мы обязаны – хотя бы в коротких словах – сказать, из чего бы мог состоять гоголевский ад. Это, во-первых, холод. Во-вторых, неподвижность. И в-третьих, немцы.

О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью (невозможностью ехать, находиться в дороге) нет нужды говорить подробно. Не было для Гоголя ничего ужаснее стужи, нетопленой сумрачной квартиры, мертвых белых снегов и такого безденежья, при котором нельзя было в любую минуту броситься в дилижанс на верхний этаж (он любил брать верхнее место), запрыгнуть в легонькую коляску или устроиться у окна в просторном омнибусе, то есть, как он сам выражался, «сделать езды и путешествия». Квартиру, кстати сказать, Гоголь всегда выбирал себе с таким трепетом, с каким это не делал ни один странствующий русский писатель. На само это дело найма квартиры он смотрел как на священный обряд, вмешивая сюда и Провидение и Господа Бога, и чудесные силы. «Бог простер здесь надо мной свое покровительство, – писал он Жуковскому из Парижа, – и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел».

Что же касается отношения Гоголя к немцам, то оно тоже слишком известно, чтоб пускаться в детальное исследование этого вопроса. Да и с какой целью? Объяснить?… Оправдать?… Нет. Никаких объяснений и оправданий быть не может. На немцев и Германию Гоголь вылил столько несправедливого яда, что никто бы не стал возражать, если бы немцы и Германия сказали, что Гоголь за эту свою ядовитость именно ада и заслуживает.

В самом деле, каким сказочным великодушием должны обладать немцы, чтобы простить Гоголю такие, например, мнения: «По мне, Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива». Или такие жалобы: «Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем…»

Впрочем, если бы кто-то и взял на себя благородный (но скорее всего, тщетный) труд как-нибудь загладить перед немцами несомненную вину Гоголя, то этот *кто-то* должен был бы осторожно и учтиво, самым тихими голосом, осознавая всю сложность своего положения, высказаться в том духе, что Гоголь вовсе не потому не любил Германию и немцев, что испытывал к ним какую-то изначальную враждебность, а потому что вдруг

слишком сильно полюбил другую страну и нацию: Италию и итальянцев. «Как показались мне гадки немцы после италианцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» – писал он в 1838 году Марии Балабиной. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное *после*.

До – Гоголь не только не презирал Германию, эту первую страну, которую он увидел за рубежами Российской империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, и которую затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году, но был влюблен в Германию не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его писем к поэту, искренне восхищался Германией – «даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию», уверял он Жуковского. Это подтверждают и его письма 1829 и 1836 годов к матери и сестрам, где Гоголь именно с живым восхищением и любовной теплотой пишет и о самих немцах, которых он называет «добрыми немцами», поражаясь их «учтивостью и какой-то прелестью обращения»; пишет и об их «прекрасных» городах – о Гамбурге, в котором «жить очень весело», об Ахене, вид которого «с горы чудо как хорош», о «щеголе Франкфурте», который «очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом», о «вольном торговом городе» Любеке, где «чистота в домах необыкновенная; неприятного запаху нет вовсе в целом городе» и где «домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны…»

Эта была, так сказать, ранняя гоголевская Германия – светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в тонком благоухании, населенная улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя и тоже гоголевская, но уже вполне адская – страшная, ужасающая, окутанная серым студеным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копоти. А главное, появились и соответствующие такой неземной – подземной – Германии обитатели: «гадкие немцы», этакие анчутки. Потом, *после*, когда случилось то, что случилось. Когда Гоголю открылся его Эдем – райская страна Италия и ее обитатели – итальянцы, которых он не просто полюбил, найдя в них и открытость, и великодушие, и подвижный находчивый ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость. Нет, он полюбил их так, что с некоторых пор – как раз с тех пор, когда любая поездка на север, за Альпы, начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую «подлую Германию», – с этого времени он стал «почитать всякого итальянца священною особою», как свидетельствует живший с

ним в Риме Николай Языков; «почему его и обманывают на каждом шагу», – с прозаической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусти. Итальянцам он прощал абсолютно все, включая и обманы, наносившие ущерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха-сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их если не до небес, то до ног самого Папы Римского, совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немцах Гоголя раздражало все – начиная от «мелкой честности» и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации. Полных немцев Гоголь просто боялся, хотя поначалу он только подшучивал над своим страхом. «Вы знаете, что такое дилижанс? – объяснял он сестрам. – Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мною рядом будут сидеть два тоненьких немца, то это будет хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем».

Потом, когда весь мир разделился в его душе на адскую Германию и райскую Италию, ему было не до шуток. Он и кресло-то на верхнем этаже дилижанса брал потому, что опасался ездить внизу на общей скамейке – все ему чудилось, что его «прижмут» там «толстые немцы».

Как бы то ни было, нужно признать, что эти «гадкие» и «толстые» гоголевские немцы, возникшие как явная противоположность «священным» итальянцам, никакого отношения к повседневной реальности не имели. И те и другие, скорее, имели отношение к тому, что называется структурой мифа, которая не допускает существование такого мира, где есть, например, одни только асы и нет другой, противопоставленной им группы богов и существ – ванов, ётунов, цвергов, норн и валькирий…

Однако если бы немцы нашли эти объяснения абсолютно неудовлетворительными, то можно было бы довести до их сведения одно очень важное обстоятельство, которое, впрочем, тоже нисколько не извиняет Гоголя, а лишь позволяет иначе взглянуть на дело.

С того времени, как Гоголь затеял главное творение своей жизни, то, которое, по его убеждению, должно было «все искупить», – «Мертвые души», – он стал любить только те страны, где ему благополучно писалось. А такая страна была только одна – Италия. Отношение же его к другим странам напрямую зависело от того, насколько плохо (хорошо вне Италии быть не

могло) продвигались там «Мертвые души». И если в каких-то странах они не продвигались вовсе (что чаще всего случалось в Германии и Швейцарии, ибо Гоголь, отрываясь от работы, ездил туда в самом угрюмом расположении духа, по принуждению своих болезней – лечиться на водах), то такие страны превращалась для него в сущий ад. Примечательно, что Гоголь иногда полностью отдавал себе отчет в том, что мрачность этого заальпийского ада есть мрачность кажущаяся, предназначенная, как и свет итальянского рая, лично для него: «Мутно и туманно всё кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми; всё пахнет севером после нее. И как вспомню, что я должен буду прожить месяц, а может, и более, вдали от нее (холера, по всем вероятностям, не оставит Рим раньше месяца), то, мне кажется, я заживо вижу перед собою вечность», – писал он Николаю Прокоповичу из Женевы. Слово «кажется» в этом коротком отрывке повторяется трижды.

Еще более примечательно, что образ любой страны, прилегающей к зоне гоголевского ада, мог в глазах Гоголя резко измениться, если в этой стране сдвигались с места «Мертвые души». Есть два его письма, удаленные друг от друга во времени всего на полтора месяца: одно – к Прокоповичу, другое – к Жуковскому. В обоих – Гоголь описывает Швейцарию. В первом – жалуется: «В Женеве я прожил больше месяца, но наконец не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Тобольск. Еду теперь в маленький городок Веве, который находится на этом же озере недалеко от известного тебе замка Шильона. Там климат совершенно другой, потому что с севера заслоняет гора».

В Веве он, как и обещал Прокоповичу, вскоре переехал. И во втором письме – к Жуковскому – о своей жизни в Швейцарии он уже отчитывался так: «Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за „Мертвых душ“, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее».

Можно, конечно, закрыть глаза на очевидные вещи и простодушно утверждать, что это именно благодаря удачно расположенной горе вдруг явились вместо «совершенного Тобольска» и тепло, и воздушность, и легкость, и играющая красочность природы; а эти изменения в свою очередь вызвали в Гоголе вдохновение, и работа, не удававшаяся в Женеве, в Веве мирно и благостно потекла. Но это значило бы путать причину со

следствиями.

Очень возможно (хотя нельзя на этом настаивать), что если бы Гоголю с таким же постоянством, как в Риме, писалось бы во Франкфурте или в Любеке, то сады бы их не померкли, не погрузились бы в вонь и грязь, а превратились бы в райские кущи; а вскоре, быть может, объявились бы где-нибудь в отгороженном мире, за Альпами, некие «гадкие итальянцы», во всем противоположные возлюбленным немцам…

Но если бы и эти суждения показались немцам неубедительными, то нужно было бы, не теряя надежды, предложить их вниманию… Но нет, довольно!

Довольно уклонятся от слов, произносить которые и трудно, и мучительно.

Итак, ад Гоголя:

Гоголь вечно сидит посреди заснеженной Германии в холодной прокуренной комнате без камина и печки, стиснутый со всех сторон дородными немцами.

Гоголь и призрак точки

В качестве убийственного примера совершенно неизъяснимой, отвратительной (быть может, просто издевательской) лживости Гоголя крупнейший историк российской изящной словесности, автор торжественных, многажды переизданных хрестоматий по русской литературе, профессор Алексей Галахов (1807–1892) приводит следующий случай, рассказанный ему актером Михаилом Щепкиным. Осенью 1848 года Гоголь жил в Москве у Погодина на Девичьем поле. Он еще не переселился к графу А. П. Толстому на Никитский бульвар в дом Талызина, давно уж намеченный ангелом Азраилом для сокровенной встречи (ранним утром в четверг 21 февраля 1852 года) с тем весьма непоседливым сочинителем, который недвижным стенам предпочитал коляску, вагон, ландолет и которого к месту могло пригвоздить только «тяжелое расстройство нервическое», наконец-таки охватившее его в полную силу в талызинском доме. В доме же Погодина – на предпоследней московской станции – путешественник еще азартно перебирал лошадей, выискивал самых свежих и статных, помышляя все ж таки доскакать до светозарной точки – до окончания второго тома «Мертвых душ», жадно ожидаемого литературной общественностью, которая мягко, сердечно, с той задушевной бесцеремонностью, что свойственна обожателям таланта, поторапливала сочинителя, не ведая о том, какая сила, какое искрометное божество должно было слететь к нему, чтоб он мгновенно уверовал в невозможное, в немыслимое, в совершенно невероятное. Или, точнее, в то, что таковым казалось минуту назад…

Гоголь сам не знал, как называть это таинственное божество, которое устраняло перед ним иллюзию незавершенности, внушая сначала ему, сочинителю, а затем и какому-нибудь будущему, бесконечно взыскательному читателю, каким, скажем, считался граф Лев Толстой, удивительно прочную веру в законченность явно незаконченного сочинения. Но Гоголь, кажется, всегда отдавал себе отчет в том, что только оно, «недоступное земле Божество», «жизнь души моей», «хранитель», «ангел», «мой гений» («О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений!»), – только оно давало ему способность заставить некую точку излучать особенный свет… некую – любую – точку, незатейливый знак препинания, знаменующий собою (по воле божества) уже не препинание, а вдохновенное молчание, окончание, завершенность…

Итак, его поторапливали, его навещали.

Навещавшие ласково спрашивали, над какою именно главою вожделенного второго тома «Мертвых душ» он теперь изволит работать, а главное, как она, эта «необходимая Отечеству» работа, продвигается и далеко ли до выхода в свет заведомо блистательной книги. Гоголь не лгал. Он отвечал, что работа продвигается из рук вон плохо, что «иное слово приходится вытягивать клещами» – откуда? Оттуда же, откуда вытянуты были клещами слова «Женитьбы», «Коляски», «Носа» – оттуда, где таятся в строгом и стройном порядке все тексты, когда-либо написанные, пишущиеся, предназначенные написанию – «проявлению», как сказали бы те многомудрые риши, которые на санскрите называли это незримое *оттуда* «Авьякта Парвой» – «Непроявленной Книгой», единственно законченной и совершенной Книгой, частично известной ныне живущим по некоторым разрозненным, неясным, до поры бессвязным фрагментам: «Нос»… «Одиссея»… «Искусство кулинарии»… «Закат Европы»… «Авеста»… «Справочник пчеловода»… «Махабхарата»…

Гоголь не лгал и относительно сроков окончания книги. Еще в 1843 году, когда с написанием второго тома «Мертвых душ» его назойливо поторапливал друг-литератор Степан Шевырев, предательски поместивший в своем «Москвитянине» облыжное уведомление о полном окончании поэмы, якобы уже готовой к печати, Гоголь, с трудом облекая неудержимое чувство гнева в благоразумно-учтивые и назидательно-рассудительные слова, нечаянно приоткрыл Шевыреву свою давнюю тайну: «Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга», – признался он заботливому понукателю в письме из Рима от 28 февраля. И тут же, как бы виновато, добавил: «Не осуждай меня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, перед которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души в минуты слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!»

Тогда, в феврале 1843 года, Гоголь ощущал, что божество сияющей точки, призванное слезами и молитвами, явится к нему через два года. «И не раньше! – настаивал он. – Даже если предположить беспрерывную и ничем не останавливаемую работу». Ибо божеству нет никакого дела до того, как продвигается работа. Оно явится в некую фантастическую минуту, и сочинителю «почувствуется глубиною души», что работа, даже если она совершенно никак не продвигалась, блестяще закончена.

О двух же годах он толковал и спустя полгода другому любезному понукателю, гимназическому товарищу, поэту Николаю Прокоповичу, урезонивая его гораздо более резко, чем Шевырева: «Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого!» Того, что от Гоголя, лично от Гоголя «менее всего можно требовать скорости». Что же касается божества, то оно внушило Гоголю отписать из Мюнхена простодушному Прокоповичу: «„Мертвых душ“ не только не приготовлен второй том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет не может выйти в свет», а среди причин медлительности покорно назвать равнодушной скороговоркой ту, что стала уже привычной для публики: «Терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков».

Через два года нечто, называемое теперь литературоведами «первоначальной редакцией второго тома „Мертвых душ“», действительно было написано, но в свет не вышло, а вышло в источник света – в огонь. Божество обмануло. Или «голос, повелевающий нам», был расслышан Гоголем недостаточно ясно. Так или иначе, долгожданная точка не просияла ни в рукописи, ни в воображении Гоголя (что равнозначно), ни в вероломном огне, соблазнившем доверчивого сочинителя лживым посулом исторгнуть в воздух летучей искрой эту вечно искомую точку.

И посему работа продолжалась.

Она продолжалась и в 1848 году, когда Гоголь жил в Москве у Погодина. Во всяком случае, всем, навещавшим его в погодинском доме, в том числе и актеру Щепкину, Гоголь, по словам Алексея Галахова, твердил одно и то же – что он трудится над вторым томом «Мертвых душ». Однако сроки окончания труда он называл теперь разные, иногда совершенно фантастические. Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, кажется, обстоятельнее других вникал во все тонкости и особенности гоголевского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственное *как* и мало интересуясь всем известным *что*, припоминается «довольно сбивчивый разговор», в котором Гоголь, «то оживляясь и желчно браня публику-дуру, то вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное бесчувствие», требовал дать ему аж 25 лет на отделку второго тома «Мертвых душ» – на проявление одного из самых неподатливых фрагментов «Авьякта Парвы». Впрочем, Бергу этот нешуточный срок («Прямо-таки каторжный срок», – замечает он) вовсе не казался фантастическим. Как и многие друзья-современники Гоголя, Берг (Бергу это можно без оглядки простить, ибо он искренне, совершенно искренне хотел знать даже то, на какого сорта и формата бумаге и, в особенности,

какими чернилами – «орешковыми, с бронзовой искоркой!» – пишет скрытный Николай Васильевич) никогда не упускал случая тайком заглянуть в рабочую рукопись Гоголя. И как многие, Берг с удивлением обнаруживал, что Гоголь «вовсе даже и не рисуется», говоря то с веселой досадой, то с беспомощным сожалением о тех незримых, метафизического происхождения клещах, которыми ему приходится вытягивать («Из сумрачной области непроявленного в область яснопламенного Агни, в область земного света» – как пели вдохновенные риши) слова, предложения, периоды, многоточия и перлоподобные точки. Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил осенью 1848 года – Погодину, Шевыреву, отцу и сыну Щепкиным, Бергу, – застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней «Авьякта Парвой» и дольней рукописью, усыпанной шариками скатанного хлеба и измаранной орешковыми чернилами, надолго, очень надолго. По подсчетам Берга, навестившего Гоголя 17 октября 1848 года, то есть на третий день его водворения в доме Погодина, а затем повторившего визит в средине декабря (и в тот, и в другой раз счастливчику Бергу представился случай взглянуть мимоходом на рукопись), Гоголь восемь недель отчаянно писал одно и то же предложение, «внешне уже представлявшее из себя, – повествует Берг, – какое-то баснословное сооружение. Что же до его внутреннего содержания, то судить о нем мог теперь только Всевышний…»

И вот за работой именно над этим загадочным предложением (судя по датам, означенным Бергом) и заставал Гоголя почти ежедневно навещавший его в этот период Михаил Щепкин, странный случай с которым заставил автора хрестоматий Алексея Галахова изумляться бессмысленной лживости Гоголя.

Щепкин, в отличие от Берга, никогда не заглядывал в рукописи Гоголя и потому о том, как продвигается работа над вторым томом «Мертвых душ», судил лишь по настроению Николая Васильевича. Однажды, придя к нему для обычной житейской беседы, не имеющей отношения к литературе, – Гоголь в последнее время любил только такие – о том, о сем – легкомысленные беседы, мгновенно мрачнея и холоднея, как только речь заходила о его писаниях, в особенности же о «Мертвых душах», – Щепкин увидел, что Гоголь сидит за письменным столом необычайно веселый и счастливый. До такой степени веселый и счастливый, что Щепкин в замешательстве был вынужден поинтересоваться, в полном ли Гоголь здравии, то есть не намерен ли он «вдруг и разом» погрузиться в «мертвящую остылость чувств», предвестниками которых, по верному

наблюдению Щепкина, часто бывали приступы беспричинной радости, изводившие Гоголя не меньше, чем приступы «жизненного онемения». Не услышав ответа, но и не обнаружив никакой ужасающей перемены в лице и во взгляде Гоголя, – Гоголь по-прежнему, обхватив руками приподнятое колено, высоко и торжественно держа голову, сидел на мягком гамбсовском стуле и с затаенно-выжидательным выражением смотрел на гостя – Щепкин уже с облегчением, хотя и без должной уверенности, сохраняя оттенок ласковой настороженности в голосе, произнес: «Заметно, что вы в хорошем расположении духа, а?»

И тут вдруг Гоголь, как бы уже не в силах лукаво выманивать из Щепкина иные наводящие вопросы – уже не в силах медлить с торжественным сообщением о том главном, величественном и долгожданном, что вселило в него чувство победоносной радости и счастливого свершения, воскликнул: «Ты угадал! Поздравь меня: кончил работу».

Да, в тот день, 14 декабря 1848 года, как раз в тот день, когда в дом Погодина нанес свой второй визит любопытник и подглядчик Берг, Гоголь, по сведениям Галахова, изложенным в февральской книжке «Исторического вестника» за 1892 год, объявил Щепкину о полном и окончательном завершении работы над вторым томом «Мертвых душ», а стало быть, и над всей поэмой, наконец-таки озаренной – точно украинская «вдохновенная, небесно ухáющая ночь» сиятельно полной луною – таинственным божеством всезавершающей точки.

Нет нужды говорить о том, в какой бурный восторг повергло Щепкина это знаменательное объявление. «Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс», – пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительность свершившегося – для России, современников и будущих поколений – Щепкин поминутно «и на все лады» поздравлял автора, кланялся ему в пояс от имени всех соотечественников; говорил речи; обнимал бесценного Николая Васильевича, целовал его, хватал его за руки, пытался кружить его в вальсе; охая, падал на диван и снова вскакивал, чтоб целовать, поздравлять, кланяться и кружить. Щепкин просто сходил с ума. Гоголь же на все эти пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных дружеских чувств отвечал виновато-счастливой улыбкой творца, в трудах заслужившего обременительную признательность.

Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставаясь все в том же расположении духа, в каком его застал около часу назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провожая того к дверям своей комнаты: «Ты где сегодня обедаешь?» Щепкин

ответил, что обедать он собирался у Аксаковых, но в силу открывшихся ему только что столь значительных обстоятельств… «Прекрасно, я обедаю там же», – перебил его Гоголь и, много теплее обычного простившись с Щепкиным, направился к своему письменному столу и уже у самого стола, не оглядываясь, добавил: «Там все сойдемся и наговоримся».

Легко представить, с каким волнительным нетерпением, с какими трепетными мыслями, искрометными тостами и сбивчивыми речами в кружащейся голове мчался на этот обед у Аксаковых нечаянно осчастливленный Щепкин – в тот час единственный на всю Россию обладатель долго-, настойчиво– и томительножданной вести: «Мертвые души» написаны!

Гораздо труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхнули в дружески преданном Гоголю сердце актера Щепкина во время той драматической – а если уж не избегать здесь давно напрашивающейся риторики, то самой драматической во всей истории русской литературы – сцены за обедом в доме Аксаковых, которой следовало бы отвести страницы во всех прошлых и будущих хрестоматиях и которую автор хрестоматий Галахов описал очень скупо, – увы, очень скупо, не вдаваясь в столь важные для нас подробности. Впрочем, по Галахову, и без подробностей все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляющей и отвратительной всякая ложь.

Как только гости, шумно наполнившие дом Аксаковых, расселись за длинным столом и, как водится, на мгновение поутихли, Щепкин поднялся, обвел всех много значительным взглядом и торжественно возгласил:

– Господа! Поздравьте Николая Васильевича. Он окончил вторую часть «Мертвых душ»!

Если бы всеобщая трепетная и немая неподвижность, воцарившаяся после этих слов, продлилась более трех-четырех секунд, Гоголя бы уже никто не расслышал (да и слушать бы вовсе не стал) в громе аплодисментов и поздравлений.

Но Гоголь успел. Он вдруг вскочил и, сдернув с груди салфетку (на этот пылкий жест гнева тоже ведь потребовалось время), быстро воскликнул:

– Что за вздор!

А мгновение спустя, когда можно было уже позволить себе зловещую неторопливость, Гоголь, дуэлянтски медленно подняв над столом и нацелив в грудь Щепкина руку с салфеткой, грозно и требовательно произнес:

– От кого ты это слышал?

Щепкин, беспомощно опускаясь на стул и еще не веря в случившееся, как не хочет верить сновидец в свою неожиданную и

беспричинную наготу на публике, со слабой надеждой пролепетал:

– Да от вас же самих; сегодня утром вы мне сказали.

Но Гоголь тут же рассеял всякую надежду, а заодно и конфуз, возникший в рядах многочисленных сотрапезников:

– Что ты, любезный, перекрестись, – ответил он, уже смягчаясь и предваряя миролюбивой улыбкой всеобщий облегченный смех, – ты, верно, белены объелся или видел во сне.

Нет, конечно же, Щепкину не пригрезился его утренний визит к Николаю Васильевичу. И слышал он об окончании поэмы от него, от Гоголя. Но совершенно от другого Гоголя. Не от того жуликоватого, вздорного и изворотливого Гоголя, которому адресует свое негодующее изумление Алексей Галахов: «Спрашивается: чего ради солгал человек?», а от того непостижимого нечеловека Гоголя, которому возвышенно лгало как равному само божество. К этому ускользающему (не изворотливому), призрачному Гоголю мы можем приблизиться, вернувшись на полшага назад – к тому феерическому моменту, когда Го – голь, распрощавшись с Щепкиным и договорившись с ним о встрече на обеде у Аксаковых, подошел к своему письменному столу, чтоб еще раз окинуть торжественно строгим взглядом вдохновенное окончание поэмы. Мы можем приблизиться. Но уже никакие детали – реальные или вымышленные – не помогут нам сколь-нибудь ясно представить (как это было в случае с бедным, попросту опозоренным Щепкиным), какие чувства испытал Гоголь, когда он вдруг обнаружил или, лучше сказать, увидел «силою внутреннего глаза», что последняя точка поэмы, так прочно ему вообразившаяся, так ярко сверкавшая ему все утро немигающей, чистой звездой, меркнет, угасает, тает, превращается в едва различимый фантом, – какие молитвы, заклятия и слезы исторгало его сердце, когда из его цепкого воображения безнадежно ускользал и этот бледный фантом сиятельной точки, и в какое «стеклянное бесчувствие» он погрузился, когда божественная точка улетучилась совершенно, оставив ему в насмешку лишь свой обескровленный облик – будничный знак препинания… Не пытаясь проникнуть в эти недоступные нам чувства «лживого» сочинителя и не вступая в безответную дискуссию с давно покойным Галаховым относительно природы этой «лживости», мы можем с достаточной степенью определенности сказать лишь одно: через некоторое время после ухода Щепкина из погодинского дома, где он так бурно праздновал вместе с Гоголем окончание поэмы, последней точки уже не было во всепобеждающем и всевнушающем воображении

Гоголя, а значит, ее не было нигде. Ни среди исписанных листов, ни в толстой стопке чистой «почтовой бумаги большого формата», марать которую, как Гоголь скажет в этот же день Николаю Бергу, ему надобно будет аж 25 лет! И уж тем более – в том громоздком, уже неохватном ни для каких клещей предложении, которое Гоголь сооружал отчаянно восемь недель и в мучительном бдении над которым ему воссияла последняя точка…

Да, она горела недолго на небосводе гоголевского воображения, эта странная – мощная, но нежизнеспособная – звезда. Берг объявился у Гоголя часа через два после ухода Щепкина. И судя по тому, в каком состоянии застал он Гоголя, говорившего теперь о «каторжном сроке» и изливавшего желчь на публику-дуру, катастрофа к этому моменту уже случилась. Но как бы то ни было, нам известны границы того периода, во время которого поэма «Мертвые души» пребывала в состоянии абсолютной и безусловной, то есть объективной завершенности, субъективно отразившейся в душе ее творца, по какой-то причине не удержавшего поэму в этом желательном состоянии. Начиная с утренних часов 14 декабря 1848 года – до и во время визита Щепкина – и кончая «приблизительно двумя часами пополудни», когда о своем приходе велел доложить господин Берг, Гоголь обладал возможностью и способностью представить для чтения или самолично (что было для него более характерно) прочитать по рукописи оконченный второй том «Мертвых душ» любому, кто бы этого пожелал. После же этого периода поэма, увы, приобрела такое состояние, что работа должна была продолжаться.

И она продолжалась. С того же места, с того же предложения… Только Бергу посчастливилось видеть это последнее (теперь уж мнимо последнее) предложение временно проявившейся поэмы – эту опустевшую раковину, уже лишенную жемчужины, но еще сохранившую следы пребывания того светозарного божества, которое не раз даровало Гоголю неизъяснимую силу мгновенно и целиком проявить любой из фрагментов «Авьякта Парвы», на какой бы стадии проявления он ни находился. Гоголь верил в это божество самозабвенно. Лишь однажды, уже вообразив совершенно законченной мучительно застревавшую на каждом шагу и на каждом же шагу беспримерно блистательную «Коляску», Гоголь усомнился в своем божестве. По утверждению Александра Данилевского, ближайшего друга Гоголя, в рукописи «Коляски» он доподлинно видел написанные вслед за финальным – теперь финальным – предложением («Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами») слова: «На следующее утро Чертокутский, одетый в какой-то

нескладного кроя фрак, унылостью цвета превосходивший его лицо…» Это с виду вполне естественное – ибо «Коляска» по всем приметам находилась на полпути, – с виду очень трезвое продолжение повести Гоголь решительно зачеркнул.

Однако приметливое божество не оставило без внимания этот краткий припадок предательской трезвости. Хотя и не в полную силу – не так беспощадно, как в случае с «Мертвыми душами» – оно отомстило Гоголю за минуту неверия. Известно, что Н. С. Тихонравов, редактируя двенадцатое марксово издание сочинений Гоголя, упорно, «как бы находясь в расстроенном здравии», вспоминает его коллега, корректор С. М. Ященко, настаивал поместить «Коляску» в раздел незаконченных сочинений, включенных им в первый том. В 1902 году приват-доцент Киевского университета А. В. Чаговец, читая студентам лекции о Гоголе (опубликованные в том же году в Киеве), сопричислил «Коляску» к «досадно недописанным повестям малороссского гения». Годом раньше в Таганроге издатель Е. С. Жадько, выпустивший неизвестно для каких целей «Полное собрание неоконченных сочинений Н. В. Гоголя», включил в него – быть может, в силу своей общей странности как издателя – и «Коляску».

Впрочем, какая бы странность ни стояла за этими случаями, в определенное время их набирается достаточно много, чтобы сказать, что мнение о незаконченности «Коляски» чаще всего возникало в конце и начале века. Последняя точка в «Коляске» навсегда осталась мерцающей, периодической. И наиболее тускло она светила, иногда совсем пропадая, на рубеже веков. Лишь Льву Толстому она виделась в это время ярко, как никому: «Самое прекрасное для меня, – делился граф с Душаном Петровичем Маковицким, прилежным гением „Яснополянских записок“, – это „Коляска“, вещица, нет ничего лишнего, закончено всё…»

Нет никаких сомнений, что и поэма «Мертвые души» представлялась бы Льву Толстому, а вместе с ним и всем читателям проявленных фрагментов «Авьякта Парвы», абсолютно законченной, если бы вера в законченность нечаянно не улетучилась бы из души самого Николая Васильевича – из его нетленной души, вечно поддерживающей в состоянии проявленного и завершенного каждое его творение, когда-либо вообразившееся ему таковым. Сохрани он – хотя бы еще на несколько часов, хотя бы до обеда у Аксаковых – эту пылкую веру в последнюю точку, решись он на высшее изъявление преданности своему божеству, то есть – на утверждение нереального, невозможного, воображаемого перед лицом реальных публичных чествований, благодарное божество, именно

этого и ожидавшее от своего сообщника, уже не посмело бы удалиться из того чудодейного предложения, о котором нам, стараниями Берга, известно, увы, только следующее:

> «Вначале достаточно ясно читавшееся, оно затем почти совершенно исчезло в прилепленных к нему невообразимым манером приписках, вставках, помарках, затейливых перечеркиваниях – в целой буре неописуемых знаков какой-то фантастической, никому не ведомой корректуры, и прочих неизъяснимых символов, среди которых выделялся, как бы ни к чему окольному не относясь, некий особливый круг, или, быть может, густо намалеванная, величиною с жемчужину, точка».

Гоголь и Гоголь

I

Был ли он игрой природы, созданием мысли или диковинным самозванцем – неизвестно. Известно, что он был.

Не украдкой, не мельком, а открыто и основательно, словно желая сродниться с действительностью, он показывался то в новой столице, то в старой, то на окраинах империи, то за ее пределами. Он вовсе не стремился быть невидимкой, этот *не тот Гоголь*.

Но *тот* сумел обнаружить его лишь ближе к концу своего жизненного пути.

Взглянув однажды из Германии дальнозоркими глазами души в сторону отчизны, Гоголь вдруг ясно увидел *другого Гоголя*, самовольно разгуливающего по Петербургу, наподобие носа майора Ковалева.

Шло лето 1847 года.

Гоголь (сам, изначальный) находился во Франкфурте-на-Майне, куда он приехал 10 июня из Неаполя, заглянув по дороге в Рим, Флоренцию, Геную и Париж. Во Франкфурте он остановился у Жуковского. В гостях жил не праздно – день и ночь писал письма, трудился над одним особенным произведением, у которого еще не было заглавия. Дел было много, и дела были важными. Белинский, Россия обрушились с жестокой критикой на «Выбранные места из переписки с друзьями». Нужно было ответить всем – и Белинскому, и России – на злые укоры и ядовитые упреки. И Гоголь отвечал. Тому – в отдельном письме. Той – в специальном произведении, заглавие которому («Авторская исповедь») дал уже не автор, а Степан Шевырев, редактировавший «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти».

Важным ли было среди этих дел дело о другом Гоголе, установить нетрудно. Дело было наиважнейшим.

20 июня 1847 года Гоголь отправил из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург письмо. Оно было адресовано его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу – кадетскому учителю, отцу шестерых детей и поэту, драгоценному для русской литературы, впрочем, не книжечкой «Стихотворения» (СПб., 1858, изд-е Н. В. Гербеля), а тем, что он исполнял в России чрезвычайные гоголевские поручения, которые требовали, как правило, отодвинуть в сторону все обыкновенные прокоповичские

заботы.

Письмо было не рядовым – напротив, оно было самым главным из всех многочисленных писем, созданных Гоголем в это германское лето на квартире поэта Жуковского в доме аптекаря Петера Зальцведеля на левом берегу Майна.

Отправленное вслед за пробной, в несколько строк, запиской, которая должна была всего лишь проверить, не изменился ли петербургский адрес *Красненького* (таково было прозвище Прокоповича, полученное им в гимназическом отрочестве от Гоголя за всегдашний румянец на круглых щеках), это письмо окончательно разрушало стену взаимного отчуждения, вставшую между друзьями осенью 1843 года. Не имеет значения, кто виноват был в размолвке. *Красненький* слишком халатно исполнил возложенное на него поручение выпустить в свет первое полное собрание сочинений Гоголя в 4-х томах. Мало того, что он истратил на издание пятитысячного тиража 17 тысяч рублей ассигнациями, тогда как можно было уложиться в восемь, он еще малодушно скрывал, что нанятая им жуликоватая типография «Бородин и К°» напечатала множество контрафактных экземпляров «Мертвых душ» и бойко сбывала их по бросовым ценам книготорговцам обеих столиц, блокируя тем самым продажу легального тиража. Гоголь же в свою очередь слишком методично подвергал гимназического товарища в письмах словесным экзекуциям – за всё: и за то, что «не сказал о подлостях типографии», и за то, что «подлец типографщик дал мерзкую бумагу», и за то, что «буквы тоже подлые», – Прокопович в итоге обиженно замолчал на годы. Значение имеет другое обстоятельство. Франкфуртское письмо не только склеивало трещину, которую дала старинная дружба Николая Васильевича и Николая Яковлевича. Оно восстанавливало и саму структуру дружеских отношений – тоже старинную: Гоголь поручает – *Красненький* исполняет.

Поручений в письме было три.

Гоголь сначала поблагодарил однокашника за письмо, присланное в средине мая, объяснив, почему оно доставило ему удовольствие: «Я начинал уже было думать, что ты от должностных своих занятий, несколько черствых, заклёкнул и завял. Но слог письма бодр, мысль свежа»; затем посоветовал ему «попробовать пера» в прозе, заверив его, что проза, писанная им еще в гимназии, «в несколько раз» лучше его стихов; потом дал знать, что внимательно прочитал рецензию Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» в февральском номере «Современника»; после этого обрисовал свое отношение и к рецензии, и к рецензенту: «…Мне было очень прискорбно… не

по причине жестокости слов… я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду…»; и наконец приступил к объявлению поручений.

Первое – было сформулировано коротко:

> «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в „Современнике“, в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем».

Второе – вытекало из первого и было изложено еще более коротко:

> «Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам».

«Письмецо» для Белинского, вложенное в конверт, было то самое («Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне…»), которому суждено было привести в бешенство больного чахоткой критика и подвигнуть его на убийственный ответ («Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете? Взгляните себе под ноги…» и т. д.).

Третье же поручение было особенное. И изложено оно было тоже по-особенному – развернуто, обстоятельно, со множеством деталей. Оно-то и касалось таинственного Гоголя, который на ту пору самостоятельно действовал в русской столице и о котором обычный, живущий на чужбине, Гоголь, несмотря на душевное потрясение, несмотря на «омут и беспорядок, в каком очутились все вещи мира» после публикации «Выбранных мест», писал Прокоповичу с несокрушимой ясностью и завораживающей, хотя и избыточной, рассудительностью:

> «Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновские, без прибавления Гоголя, которое осталось только за отцом. Если появившийся Гоголь есть один из сыновей священника Яновского, из которых я,

однако ж, до сих еще пор не видал своими глазами никого, то в таком случае он может действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не понимаю, зачем ему похищать название Гоголя. Не потому я это говорю, чтоб стоял так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти какие-нибудь гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор его и в глаза не видал. А потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим именем, не худо было бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление».

II

Исполнить первое поручение *Красненький* был не в силах. До Белинского в то лето легче было бы доскакать самому Гоголю. Критик находился вовсе не в Петербурге, а на территории Германского союза. Болезнь загнала Виссариона Григорьевича в смертельно тихий городок Прусской Силезии по названию Зальцбрунн, где он с начала июня лечился новооткрытыми водами, живя, как сообщает опекавший его там Павел Анненков, «в чистом деревянном домике с уютным двориком».

Второе поручение Прокопович выполнил небрежно. «Прилагаемое письмецо», в котором Гоголь называл Белинского «рассерженным человеком» и пенял ему за «оплошные выводы» относительно «Выбранных мест», следовало передать адресату в том случае, «если в нем угомонилось неудовольствие». Но *Красненький* поступил не так, как велел Гоголь, а как Бог на душу положил. Нисколько не сообразуясь с тонкостями гоголевской дипломатии, он просто-напросто взял и встретился с чиновником министерства уделов Николаем Тютчевым, находившимся в тесной дружбе с Белинским и тоже исполнявшим при литераторе роль порученца по особым делам; а встретившись с ним, не

только передал ему для дальнейшей переправки в Зальцбрунн письмо к Белинскому, но и зачем-то дал прочесть то письмо, которое было адресовано лично ему, Прокоповичу, и в котором Гоголь свободно рассуждал о «мелкости» умозаключений критика. Не соверши Прокопович всех этих самоуправных действий, Белинский не получил бы гоголевского послания и дополнительных сведений к нему, добытых фактотумом Тютчевым при чтении чужой корреспонденции, – и тогда бы не потекла в мир из деревянного домика в Судетских горах «огненная лава гнева, упреков и обличений», как называл зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю свидетель его написания Павел Анненков.

Но нас интересует третье поручение.

Мог ли *Красненький* выполнить его добросовестно?

Конечно, оно было сложным, – сложным до необычайности, – и к тому же сложносоставным.

Прокоповичу надлежало, во-первых, отыскать надежные сведения о том существе, которое, не находясь во Франкфурте, не гостя у Жуковского, не сочиняя писем к Белинскому, называлось Гоголем:

«Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Го – голь…» и т. д.

Во-вторых, он должен был *«для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны»*, то есть встретиться с ними и сказать, что на свете есть Гоголь и Гоголь – *тот* и *другой*, – и что поэтому им не следует принимать за Гоголя любого Гоголя, какой пожелает пустить в продажу свои сочинения, а следует каждый раз справляться о таком сочинителе у доверенного лица:

> *«…и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор его и в глаза не видал. А потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу».*

И в-третьих, нужно было убедить новооткрытого Гоголя Гоголем не называться, намекнув ему, что он рискует оскандалиться, если Гоголь давний – давно всем известный – все ж таки решится, говоря по-майорковалевски, «отнестись прямо в газетную экспедицию» и «сделать публикацию»:

> *«Тому же, кто выступает под моим именем, не худо было бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он*

выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление».

Последняя часть трехчастного поручения была особенно трудной для исполнения. Николай Яковлевич должен был попытаться «как-нибудь» и «стороной» сообщить кому-нибудь, – чтоб этот кто-нибудь затем сообщил другим, а другие *другому*, – о тех причудливых обстоятельствах, которые, согласно изначальному предписанию Николая Васильевича, разглашению не подлежали; или, избрав иной, не менее сложный, путь, попытаться встретить лицом к лицу для прямой беседы самого *другого*, высмотрев его, например, в подвижной толпе на Невском по подсказке сердца.

Как бы то ни было, исходных данных для расследования дела о другом Гоголе в распоряжении *Красненького* оказалось немало.

Были известны важнейшие свойства главного фигуранта.

Он не был женщиной – «женского рода», как сестры Гоголя, которые «в литературу не пускались» (не ударялись). Он вовсе не доводился Гоголю родственником – ни близким, ни дальним. Он не был скромным однофамильцем, а был, скорее, таким человеком, который мог бесстрашно «похитить название Гоголя». Он обладал автономностью, был «сам по себе», как нос майора Ковалева, однако общего с Гоголем у него было больше, чем у носа с майором, ибо служил он не «по другому ведомству», а по тому же – литературному, то есть в точности, как и Гоголь, он был писателем.

Данных было достаточно.

Но едва ли *Красненький* имел представление, с какой стороны подступиться к делу. Некоторых важных для дела историй – странных историй, – в которых действовал Гоголь и в то же время не Гоголь, он не знал. Да и не мог знать. За окнами его дома на Васильевском острове в 9-й линии между Большим и Средним проспектами, так же как и за окнами дома Зальцведеля в квартале Заксенхаузен на набережной Шауманкай, стояло лето 1847 года: Гоголь был жив – и на свете не существовало печатного корпуса мемуаров, документов и писем, из которого *Красненький* мог бы извлечь эти разновременные истории, свидетельствующие о том, что дело с неким *другим Гоголем* (выступавшим иногда и под *другой* фамилией) имели многие современники.

III

2 февраля 1842 года шеф Корпуса жандармов и главный начальник Третьего отделения Собственной Е. И. В. канцелярии граф Александр Христофорович Бенкендорф сообщает в письменном докладе царю Николаю Павловичу о ком-то, кого он уверенно (трижды) называет *Гогелем*:

> «Попечитель московского учебного округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием „Мертвые Души“, но оно московской цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно пал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству о таковом ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей „Ревизор“, я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего Вашего Величества повеления о выдаче единовременного пособия пятьсот рублей серебром».

Историк Михаил Лемке, впервые опубликовавший этот документ в 1908 году в составе монографии «Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.» (доступ к архивам Третьего отделения автору открыл министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский), высказал мнение, что Бенкендорф отрекомендовал царю Гоголя Гогелем по незнанию, по невежеству.

«Называя автора „Ревизора“ „известным писателем“, III Отделение не постеснялось назвать его „Гогелем“… Так он был ему известен…», – язвительно замечает Лемке на 135-й странице своего труда.

Однако на 136-й – он вдруг формулирует иное, в сущности, противоположное (и более трезвое), суждение: «Ясно, что, представляя такой доклад, Бенкендорф знал, что Николай уже помогал Гоголю, потому что иначе, разумеется, никогда не рискнул бы просить за литератора, сочинение которого не разрешено установленной правительством цензурой».

Из этого следует, что начальнику Третьего отделения («центральной шпионской конторы», по определению Герцена) было хорошо известно и кто такой Гоголь, и каковы его отношения с цензурой, и какую помощь он уже получал от казны,

и какую реакцию на его имя нужно ждать от царя, написавшего, между прочим, на докладе: «Согласен».

Не исключено, что осведомлен был Бенкендорф и о многом другом, касавшемся сочинителя, чью комедию «Ревизор» царь разрешил к постановке лично. Например, о том, как Гоголь называл на дружеских обедах жженку, которую очень любил. Он сам ее готовил (из рома, сахара и шампанского), сам поджигал – смотрел, как напиток горит в бокале голубым, в цвет жандармского мундира, пламенем; потом объявлял сотрапезникам, что это *Бенкендорф*, который должен навести порядок в сытом желудке, и залпом выпивал *Александра Христофоровича*. Может быть, Бенкендорфу как таковому хотелось рассчитаться за этого дижестивного Бенкендорфа, и потому он взял и выставил Гоголя Гогелем в докладе на высочайшее имя, заведомо зная, впрочем, что обидчик доклада не увидит. Может быть.

Однако есть обстоятельство, над которым обязан был бы задуматься любой заинтересованный расследователь дела о другом Гоголе, – например, Прокопович. Обладай *Красненький* возможностью изучить необходимые материалы (письмо П. И. Пейкера к С. Т. Аксакову от 7.11.1841, мемуары последнего под названием «История моего знакомства с Гоголем» и некоторые письма друг к другу членов аксаковской семьи), он должен был бы обратить внимание на одно поразительное совпадение.

IV

13 октября 1841 года, за три с половиной месяца до того, как фамилия Гогель появляется в докладе Бенкендорфа, со станции почтовых карет и брик на набережной реки Мойки в Петербурге отъезжает почтово-пассажирский дилижанс. Он направляется в Москву. Места в его переднем купе занимают два господина. Один – Петр Иванович Пейкер, артиллерийский офицер, сын сенатора Ивана Устиновича Пейкера и друг писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Другой… другой представляется Пейкеру Гогелем. Просто Гогелем. Сиротой.

В первые часы пути Пейкер чувствует себя неловко. На станции отправления, еще до того, как сосед по купе отрекомендовал себя Гогелем, Пейкер радостно выразил ему свое почтение, приняв его за Николая Васильевича Гоголя.

По какой причине Пейкером овладела уверенность, что перед ним сам Гоголь – почудилось ли ему что-то гоголевское в облике попутчика; или, может быть, в минуту их знакомства слово

«Гоголь» пронеслось, будто птица, под стеклянной крышей станционного двора на Мойке, нечаянно выпорхнув из уст какого-нибудь пассажира, – неизвестно. В мемуарах Аксакова говорится только, что Пейкер «очень обрадовался соседству знаменитого писателя».

К чувству неловкости, которое овладело Пейкером, после отправления экипажа, прибавляется чувство досады: ехать с «круглым сиротой», рассказавшим о себе «преплачевную историю», предстоит семьсот с лишним верст – больше трех суток. Хотя поначалу – после того как сосед «уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*» (Аксаков), – сенаторский сын ведет себя так, словно ему недостаточно этого уверения. Дилижанс одолевает версту за верстой, Пейкер же задает попутчику вопрос за вопросом: знает ли господин Гогель, к примеру, Михаила Погодина – профессора Московского университета, издателя, журналиста, друга Пушкина, друга Гоголя? Нет, Гогель его не знает. И родителя Пейкера, Ивана Устиновича, под началом которого служил в 1829 году в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий МВД юный Гоголь, Гогель тоже не знает. И многих других известных и важных лиц, учившихся, например, в малороссском городе Нежине, в Гимназии высших наук князя Безбородко, не знает ничуть. А знает только – каким-то чудом – семейство Аксаковых, с которым дружен и Пейкер…

17 октября экипаж прибывает в Москву.

В тот же день во дворе московской конторы дилижансов и транспортов на Мясницкой улице очутился, выйдя из рейсовой кареты на воздух, Николай Васильевич Гоголь. Завершилось его 72-дневное путешествие из Рима в Москву через Флоренцию, Геную, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Ганау, Дрезден, Берлин и Санкт-Петербург. Гоголь приехал печатать «Мертвые души».

Прямо из конторы дилижансов Николай Васильевич направляется в дом Михаила Погодина на Девичьем поле – в свое обычное (на ту пору) московское прибежище. На следующий день он навещает дом Аксаковых возле Смоленского рынка. На следующий – тоже. А также и на следующий… В какой-то из дней – что было неизбежно – Гоголь появляется в аксаковском доме одновременно с артиллеристом Пейкером.

«Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас, – пишет Аксаков. – Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в

Гоголе несносного своего соседа Гогеля».

Пейкер пришел в негодование. Мемуарист передает его раздраженный вопрос: «За что Гоголь дурачил его трое суток?» Пейкер оскорбился и обиделся. Хозяева дома бросились его утешать. Его стали уверять, что в случившемся нет ничего ужасного; что это всего лишь «невинная выдумка»; что «Гоголь делает это со всеми». Общими усилиями расстроенного гостя удалось успокоить. Бывших попутчиков даже усадили обедать вместе. Радуясь мирному исходу дела, Аксаков не обсуждает некоторые странности, которые бросаются в глаза.

Если первоначальная уверенность Пейкера в том, что рядом с ним в дилижансе занимает место не кто иной, как Гоголь, была настолько велика, что она выразилась в открытом проявлении радости по этому поводу; если в достоверности таинственной личности Гогеля он сомневался до такой степени, что без стеснения задавал попутчику наводящие вопросы: о семействе Аксаковых, о Погодине, – наводящие прямо на личность Гоголя (об этих вопросах Пейкера сообщает дочь Аксакова Вера в письме к кузине Марии Карташевской); если все обстояло именно так – Го – голь безжалостно и скоморошно притворялся, Пейкер мучительно и неотвязно подозревал, что имеет дело с притворщиком, – то почему бы сыну сенатора не развеять все подозрения и сомнения – хотя бы просто для внутреннего спокойствия.

Подлинное имя своего попутчика Пейкер мог без труда узнать, во-первых, у кондуктора экипажа, имевшего при себе точный список всех пассажиров, а во-вторых, у любого станционного смотрителя на любой из двух дюжин почтовых станций столичного тракта – начиная от Софии и кончая Химками, – где тщательно переписывались в шнуровую книгу подорожные всех путешественников, пока те прогуливались и закусывали.

Наконец, очень странно, что Пейкеру, окончившему в 1833 году Санкт-Петербургское артиллерийское училище, не были известны малочисленные потомки Генриха Гогеля (Goguel), приехавшего в Россию из франкоязычного графства Монбельяр при Екатерине Великой; и в частности, не был известен Иван Григорьевич Гогель, генерал-лейтенант артиллерии, вице-директор Артиллерийского департамента Военного министерства и автор учебников по артиллерии, умерший в 1834 году, – он-то и был единственным из рода Гогелей, кто по возрасту (и по дате смерти) подходил на роль недавно почившего батюшки дилижансного Гогеля-сироты.

Впрочем, Николаю Яковлевичу Прокоповичу при

распутывании дела о другом Гоголе следовало бы сосредоточиться не на этих побочных странностях, а на той капитальной странности, что Гогелей было два. Один – сиротствующий Гогель Пейкера – объявился осенью 1841 года в столичном дилижансе, другой – бедствующий Гогель Бенкендорфа – дал знать о себе ближайшей зимой в служебном докладе сановника…

Но был еще Гоноль. Он возник на почтовой станции в Химках в конце весны 1842 года. Утром 23 мая Сергей Аксаков и его сыновья Григорий и Константин поехали в четырехместной коляске провожать в обратный путь за границу через Петербург – до первой станции на шоссе, как это было принято, – Гоголя. Именно Гоголя Николая Васильевича. Однако провожаемый, садясь в Химках в казенный дилижанс, не только представился Гонолем соседу по купе, военному «необыкновенной толщины», но и без колебаний записался Гонолем в кондукторский список, хорошо зная, что и сам кондуктор, и караульные на заставах, и двадцать четыре станционных смотрителя, исправляющих службу на Петербургском шоссе, обязательно сверят фамилию в списке с фамилией в паспорте.

Был Гого. Такой фамилией называл человека в зеленом камлотовом плаще и серой круглой шляпе, ехавшего летом 1849 года из Москвы в Калугу в компании со Львом Арнольди, камердинер последнего. Арнольди напрасно внушал камердинеру, московскому французу доброго нрава, что фамилия человека – Гоголь, а не Гого. Француз, сидевший рядом с кучером на козлах дряхлого тарантаса, извинялся, – вероятно, с особым усердием, так как словечко «gogo» означает по-французски «простофиля», – и тут же принимался за свое. Не только в течение двух дней пути (они ехали в гости к супруге калужского губернатора Александре Осиповне Смирновой, доводившейся Арнольди сестрой по матери), но и в течение целого месяца, пока господа гостили в губернаторском доме, камердинер называл человека, с которым барин приехал в Калугу, не иначе как месье Гого (m-r Gogo).

Не помешало бы Прокоповичу знать и о том, что был один плохо известный Гоголь, который между 15 июня и 21 июля 1837 года навестил Испанию и Португалию, куда никогда не ездил Гоголь, известный хорошо.

С этим испанско-португальским Гоголем сталкивался в Москве Константин Аксаков, писавший 30 сентября 1839 года младшим братьям: «Гоголь, Гоголь! Наконец он здесь теперь!.. Вообразите, что он был в Испании во время междоусобной войны; в Лиссабоне также».

С ним же, с загадочным посетителем Барселоны, Мадрида и Лиссабона, имела дело в Баден-Бадене в августе 1837 года Александра Осиповна Смирнова, вспоминавшая: «Один раз говорили мы о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не ездить. „Вы как это знаете, Николай Васильевич?“ – спросила я его. – „Да я там был, пробрался туда из Испании, где также прегадко в трактирах“, – отвечал он преспокойно. Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там всё в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые оттуда приезжают, всегда много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На всё это он очень хладнокровно отвечал: „На что же всё рассказывать и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вам с первого слова человек всё выкладывал, что знает и не знает, даже и то, что у него на душе“. Я осталась при своем, что он не был в Испании, и меж нами осталась эта шутка: „Это когда я был в Испании“. В Испании он точно был, но проездом, потому что в самом деле оставаться долго было неприятно…»

Археограф Сара Житомирская, подготовившая к печати самый полный корпус дневников и воспоминаний Смирновой (М., 1989), в комментариях к этому рассказу мемуаристки замечает: «Факт пребывания Гоголя в Испании и Португалии не установлен и документально не подтвержден».

О том, что известный по достоверным документам Гоголь не заезжал – ни сушей, ни морем – в эти страны континента, пишет и профессор Семен Машинский, редактировавший мемуарный сборник «Гоголь в воспоминаниях современников» (М., 1952).

Мнение ученых подтверждается тем фактом, что весной 1845 года, то есть через восемь лет после того, как некий «легкий как сон» Гоголь побывал в Испании и Португалии, юрист Александр Жиряев познакомился с более плотным, более телесным Гоголем, который там еще не бывал, а только собирался туда поехать. В письме из Берлина в Прагу к чешскому поэту Вацлаву Ганке от 20 мая 1845 года Жиряев сообщает:

> «Русскую Пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился с двумя русскими знаменитостями – Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться. Последний (Гоголь) намерен ехать в Испанию и Португалию».

Полезно было бы *Красненькому* иметь представление и о таком невиданном Гоголе, который 26 сентября 1839 года отправил Марии Ивановне Гоголь-Яновской в село Васильевку

письмо из Триеста, в то время как Гоголь *виданный* находился в Москве, – его видели здесь Щепкин, Погодин, всё семейство Аксаковых.

Один из этих двух Гоголей, тот, который, судя по триестскому почтовому штемпелю на обороте письма, был за две с половиной тысячи верст от Москвы, сообщал: «Я живу в Триесте, где начал морские ванны… Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца и то если найду для этого удобный случай и если эта поездка меня не разорит». Он бодро докладывал Марии Ивановне, что намерен отправиться в Вену («чтобы быть поближе к Вам»), и живо описывал порт Габсбургской монрхии: «Триест – кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят почти по-русски – языком, очень близким к нашему малороссийскому. Прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем».

Другой же Гоголь – более мрачный и менее склонный наслаждаться здоровьем – уже на следующий день, то есть 27 сентября 1839 года, писал в Санкт-Петербург Плетневу: «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя мои сестры. Я должен устроить судьбу их».

Как и обещано было Марии Ивановне, триестский Гоголь – тот, который купался в Адриатическом море, – вскоре очутился в столице Австрийской империи. Письмо этого Гоголя с пометой «Вена» над текстом полетело в село Васильевку Полтавской губернии Российской империи. «Итак, я выезжаю сегодня в Россию; через месяца полтора или два буду в Петербурге, а недели через две после этого – в Москве», – писал венский Гоголь Марии Ивановне Гоголь-Яновской 26 октября 1839 года.

И в тот же самый день некий московский Гоголь отправил из дома Погодина Сергею Аксакову записку в шесть слов: «Вы правы, через час я готов». Через час этот Гоголь ехал с маленьким чемоданом и большим портфелем для рукописей (весь его багаж на всех дорогах мира) в контору дилижансов на Мясницкую улицу, а через четверо суток он был уже в Петербурге. Его короткая записка была ответом на письмо Аксакова, в котором речь шла о совместном выезде из Москвы в Северную столицу: «Я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впрочем, уведомьте, любезный Николай Васильевич, как вы решите, так и будет».

В знаменитом труде Владимира Шенрока «Материалы для биографии Гоголя» (М., 1892–1897) логическому и фактологическому разбору венско-триестской истории посвящена

целая глава. Один из ранних биографов писателя не скрывает недоумения. «Таким образом, – рассуждает Шенрок, – в течение сентября и октября месяцев 1839 года Гоголь по датам его писем и по разнообразным свидетельствам современников оказывается находящимся одновременно в России и за границей, в Москве и в Триесте».

Очень возможно, что Прокопович охотно согласился бы с той более поздней биографической мыслью, что несмотря на выставленные Гоголем пометы «Триест» и «Вена» и «тонко нарисованный» (тоже искусником Гоголем) почтовый штемпель вольного города Триеста, письма писались вовсе не в Триесте и не в Вене, а в московском доме Погодина на Девичьем поле. Возможно также, что Николай Яковлевич, согласившись с этим, тотчас бы закрыл глаза на странную историю, чтоб не искать в ней с излишним усердием, противным его натуре, *другого Гоголя*.

Но была история еще более странная, в которой участвовал и сам Прокопович. Она затеялась в мае 1846 года.

V

Выехав из Италии в Заальпийскую Европу без ясной цели («Еду я для того, чтобы ехать», – написал он 5 мая Аксакову, покидая Рим), Гоголь заехал в Париж. Он остановился на rue de la Paix в вельможном отеле «Westminster», где набожный граф Александр Петрович Толстой, намертво сдружившийся с ним в последние годы его жизни, приготовил для него особую комнату, «на солнце, с печкой» (с этой весны и до смерти Гоголь не мог согреться ни земным, ни небесным огнем). Ту да же – в Париж – явился гонимый туристической лихорадкой Павел Анненков – *Жюль*, как прозвал его Гоголь во времена петербургской юности в честь парижского литератора Жюля Жанена за ловкий ум.

Узнав случайно, что Николай Васильевич в Париже, Анненков раздобыл его адрес и немедленно примчался к нему в отель. Друзья не виделись пять лет, с тех пор как летом 1841 года *Жюль* переписывал в Риме на Via Felice главы первого тома «Мертвых душ» под диктовку автора.

Гоголь обрадовался встрече. Но радость выражал недолго. Он «тотчас» и «с неудовольствием» заговорил о петербургских делах. Стал жаловаться на путаницу в денежных расчетах с доверенными лицами, возникшую после выхода в свет его собрания сочинений, – того самого, которое напечатала вороватая типография Бородина под халатным присмотром *Красненького*. В ответ на это *Жюль*, выгораживая общего друга, напомнил

Николаю Васильевичу, что в начале прошлого года *Красненький* послал ему переводной вексель (тратту) петербургского банка Штиглица на 4 тысячи рублей.

Это была большая сумма – около 16 тысяч франков: римская квартира Гоголя на Via Felice стоила 20 франков в месяц.

Однако этих денег, как выяснилось, Николай Васильевич не получал. Более того, за полтора года он не имел о векселе никаких известий ни от Плетнева, ни от Жуковского, которые заведовали его денежными делами – первый в России, второй в Европе, – ни от гамбургского банка Гейне, назначенного трассатом (плательщиком по векселю), ни от самого Прокоповича.

Вскоре Гоголь уезжает из Парижа, направляясь в Бельгию к западным пределам континента, чтобы испробовать еще раз целебную силу холодных вод Северного моря в Остенде, где он уже бывал. Уезжает из Парижа и Анненков, держа путь в Центральную Европу через Франконию.

В средине июля происходит странная встреча, которая словно предвещает грядущее раздвоение знаменитых персон, вовлеченных в историю с пропавшим векселем. Продвигаясь своим маршрутом, опытный турист Анненков заезжает в Бамберг – Франконский Рим, как прозвала молва этот город за славное прошлое и впечатляющую архитектуру, – и первым делом отправляется на вершину Домберга (Соборного холма), чтоб осмотреть Кафедральный собор, царящий над городом и окрестностями. Дальнейшее он описывает так:

> «Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самою ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя как две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора „Вечеров на хуторе“, но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною».

И в самом деле, встречный прохожий оказался настоящим Гоголем. Хотя Анненкову поначалу и трудно было в это поверить. Ибо Гоголь должен был находиться в это время не в глубине континента – в Бамберге, а на его окраине – в Остенде, куда по прямому пути из Парижа было не более суток езды дилижансом.

Но бамбергский Гоголь, или человек «в коротеньком пальто, с глазами, устремленными постоянно в землю», повстречавшийся Анненкову в Бамберге, ехал к морю уже второй месяц и успел побывать во Франкфурте, в Греффенберге, в Праге, в Карлсбаде, потому что «взял дорогу через Австрию и Дунай», что, конечно, подтверждает его «гоголевость», его «настоящесть», так как «настоящий, действительный Гоголь» и вправду редко ездил прямым путем.

Так или иначе, 20 июля 1846 года, продвигаясь в Западную Фландрию затейливым, как узор на вышивном рушнике, маршрутом, Николай Васильевич заезжает в Швальбах – курортный городок на минеральных водах среди лесов и гор близ Висбадена – и в тот же день пишет письмо ректору Санкт-Петербургского университета Петру Плетневу – другу и издателю, который исполнял в России, как и *Красненький*, важные поручения странствующего в чужих государствах писателя. К концу послания Николай Васильевич вдруг вспоминает о векселе; ему вдруг становится любопытна его таинственная судьба.

«Недавно я встретил, – пишет он, – одного петербургского моего знакомого, по фамилии Анненкова, который вместе с тем знаком и с Прокоповичем. Он мне объявил, что Прокопович послал мне в начале прошлого 1845 года четыре тысячи рублей ассигнациями во Франкфурт, на имя Жуковского. Этих денег я не видал и в глаза, но если бы получил их, то отправил бы немедленно к тебе. Упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы тебя вновь чем-нибудь затруднить по этому делу, но единственно затем, чтобы довести это к твоему сведению».

Через десять дней – 30 июля – возникает дело, которое затмевает для сочинителя все другие дела мироздания. Николай Васильевич отсылает Плетневу из Швальбаха первую часть нового произведения с твердым приказанием в письме: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги под названием: „Выбранные места из переписки с друзьями“».

В последующие месяцы из приморского города Остенде, куда он все-таки добрался, а потом из Франкфурта, куда перебрался, Гоголь отправляет в Петербург остальные части «Выбранных мест». Все сопроводительные письма он наполняет распоряжениями «по делу книги». Все ответные послания Плетнева представляют собой отчеты о выполнении этих распоряжений. Иногда, впрочем, между корреспондентами речь заходит и о векселях – о разных векселях: Плетнев пересылал Гоголю за границу любые причитающиеся ему в России деньги, – но только не о векселе Штиглица, который был послан в 1845 году Прокоповичем. Этот призрачный вексель совершенно

улетучивается из переписки Николая Васильевича и Петра Александровича. Издатель и сочинитель, словно сговорившись, молчат о растворившихся в воздухе деньгах.

Но вот в конце января 1847 года – спустя полгода после получения известия о загадочных четырех тысячах – Плетнев вдруг докладывает Николаю Васильевичу, зимующему в Неаполе в доме графини Софьи Апраксиной:

> «…сообщу тебе подробности о векселе Прокоповича, о котором ты узнал от Анненкова и писал ко мне.
>
> Прокопович в начале 1845 года действительно послал во Франкфурт вексель на имя Жуковского, для передачи тебе, оставив у себя второй его экземпляр (secunda). Он воображал, что ты давно деньги получил. Надобно полагать, что тут вышла какая-нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экз. векселя. Я велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по первому действительно выдано не было, то еще можно получить по второму».

Строго говоря, секунда-вексель, или второй экземпляр тратты, который Прокопович предъявил Плетневу, не мог служить удостоверением, что деньги дошли до ремитента. По нему нельзя было установить и то, производил ли кто-нибудь с прима-векселем (первым экземпляром) какие-либо действия или операции – был ли он, например, акцептирован банком Гейне в Гамбурге, посылался ли по почте на имя Жуковского во Франкфурт и т. д. Наличие у Прокоповича секунда-векселя на 4 тысячи рублей банка Штиглица, выступившего трассантом (векселедателем), свидетельствовало лишь о том, что тратта на эту сумму была оформлена не соло-векселем, а имела дубликаты – своего рода аватары, зримые и равноценные проявления одной и той же сущности (все дубликаты принимаются к оплате и все становятся недействительными, как только оплачивается один из них).

Отправив сообщение о векселе Николаю Васильевичу, Плетнев в тот же день пишет письмо во Франкфурт Жуковскому. Он обрисовывает поэту (и европейскому кассиру Гоголя) все известные на тот момент – и в общем-то подозрительные – обстоятельства дела; просит его либо получить по секунда-векселю в банке Гейне четыре тысячи и передать их Гоголю, либо «объяснить всё дело» ему же, Николаю Васильевичу, если деньги по какой-то причине не будут получены. Разумеется, вместе с

письмом Плетнев посылает Жуковскому взятый у Прокоповича второй экземпляр тратты, который должен был сохранять всю силу актуального финансового документа, «если по первому действительно выдано не было».

Неожиданное послание Плетнева приводит Жуковского в замешательство. Поэт никогда не допускал в денежных делах никакой ветрености, и уж тем более сумятицы, предполагаемой Петром Александровичем. Надежным щитом от ветрености и сумятицы служила учетная книга, где Жуковский аккуратно фиксировал под точными датами все свои действия с документами, письмами, наличными деньгами и ценными бумагами, проходившими через его руки. Он первым делом бросается к учетной книге; потом к перу и бумаге. В письме от 10 февраля 1847 года он пишет Гоголю:

> «При своем письме Плетнев посылает мне вексель (secunda) для доставления вам и говорит, что этот самый вексель (prima) был уже в генваре 1845 мне послан для вас же и что до сих пор нет слуху, получили ли вы его когда-нибудь. Право, ничего не помню. Если был мне прислан для вас такой вексель, то, конечно, был он вам и доставлен. Я справлялся с своею книгою, в которую я записываю отправленные письма, – там стоит 1845 генваря 23 к Гоголю с письмом Смирновой и Шереметевой; генваря 13 к Гоголю просто; 1846 генваря 21 к Гоголю со вложением векселя. Вот и всё. Не знаю ничего о векселе, который должен бы идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы чего сами об этом?»

Этот вопрос – «Не знаете ли вы…» – рука поэта вывела на бумаге машинально. Василий Андреевич вовсе не рассчитывал получить на него ответ. Он хорошо знал, что Николай Васильевич знать ничего не может. Строчкой ниже, как бы предугадывая, что ясного ответа по вексельному делу от автора «Мертвых душ» не будет, он сам же и написал: «Во всех сих делах вы, любезнейший, не наблюдаете надлежащей точности».

Но ответ последовал.

И это был точный ответ. Это был ясный ответ. Это был такой ответ, который Николаю Яковлевичу Прокоповичу – о его заботе здесь речь – следовало бы выучить наизусть.

Из города Неаполя, из Palazzo Ferrandini, арендуемого графиней Софьей Апраксиной, Гоголь 4 марта 1847 года написал во Франкфурт-на-Майне Жуковскому:

> «От Плетнева я получил извещение, что назад тому

два года был послан ко мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма».

Спустя два дня – 6 марта – Николай Васильевич дал отчет об исчезнувшем векселе и Петру Плетневу, написав ему в Петербург:

«Что касается до векселя Прокоповича, то он, вероятно, получен кем-нибудь другим. Надобно тебе знать, что во Франкфурте, во время нашего пребывания вместе с Жуковским, завелся другой Жуковский и другой Гоголь. Эти господа весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Гоголь или не-Гоголь, воспользовавшийся деньгами, но он, без сомненья, был человек беспутный и безденежный, стало быть, и теперь остался беспутным и безденежным, а потому взыскивать пришлось бы или с несчастной семьи, или с родственников, чего Боже сохрани. Жуковского я просил разузнать, если можно, но не взыскивать».

Действительно, *тот* Гоголь просил *того* Жуковского не преследовать по закону *не того* Гоголя. Это желание Николай Васильевич объяснил Василию Андреевичу в мартовском письме так: «…придется, может быть, содрать последнюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственников, от чего Боже сохрани, а потому дело это оставить. Разузнать можно, но, Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае!»

VI

Секунда-вексель, присланный Плетневым из Петербурга, Жуковский не стал пересылать Гоголю в Неаполь, как поначалу намеревался. Решив распутать дело на месте, он обратился за помощью к действительному тайному советнику Петру Яковлевичу Убри – посланнику Российской империи при Германском союзе во Франкфурте-на-Майне.

Убри, или Убриль, как его называл Жуковский, передал вексель франкфуртскому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, с тем, чтобы тот снесся с гамбургским банкиром Карлом Гейне и навел у него справки о человеке, получившем вексельные деньги.

Ответа из Гамбурга и Жуковский, и Убри ждали с

нетерпением. И он пришел очень скоро, поскольку о векселе спрашивал Ротшильд.

В несколько дней расследовав дело (без запроса известного банкира это должно было, по словам Жуковского, «протянуться долее», и, вероятно, намного), Карл Гейне прислал Амшелю Ротшильду официальное банковское свидетельство, удостоверяющее в том, что никаких выплат по прима-векселю в течение двух лет, с тех пор, как Штиглиц в Петербурге выдал два экземпляра тратты, не производилось и что, стало быть, секунда-вексель, имеющийся в наличии, действителен.

Взыскивать с *другого Гоголя* не пришлось. Денег по векселю банка Штиглица он не получал. Однако «бестолковщина по части этого векселя и его чудесных странствий», как выразился Николай Васильевич, продолжалась.

В начале марта 1847 года действительный тайный советник Петр Убри переслал с дипломатической почтой чрезвычайному посланнику и полномочному министру России при Неаполитанском дворе тайному советнику Льву Потоцкому конверт, в который были вложены банковские справки по векселю Штиглица от Карла Гейне, сам вексель и адресованное банкиру Королевства Обеих Сицилий Калману Майеру Ротшильду письмо его брата Амшеля Майера Ротшильда с подтверждением, что документы подлинны и что по ним можно выдать Гоголю деньги в Неаполе.

Получив от министра Потоцкого конверт, Николай Васильевич отправился с документами к Калману Майеру Ротшильду. Никаких сомнений, что деньги наконец завершат в портмоне Гоголя свои «чудесные странствия», к этому времени уже не было ни у Жуковского, ни у тех важных особ, которые приложили руку к вексельной истории.

Но в банке произошло нечто необъяснимое.

Приказав своей кассе выдать Гоголю деньги, Калман Майер Ротшильд в следующую минуту неожиданно отменил приказ.

Что случилось в эту таинственную минуту марта 1847 года в неаполитанском отделении банка Ротшильдов – Гоголь ли вдруг показался банкиру не Гоголем, то есть тем самым *не-Гоголем*, который «завелся во Франкфурте» и получал вместо Гоголя, будучи, в сущности, *другим Гоголем*, гоголевскую корреспонденцию; или и в самом деле «неаполитанский Ротшильд», как потом объяснял Гоголь Жуковскому, не поверил (что очень странно) «ни удостоверению гамбургского Гейне, ни ручательству франкфуртского кровного брата», – сказать трудно.

Вексель был отправлен с требованием новых справок и удостоверений назад во Франкфурт; из Франкфурта – в Гамбург;

из Гамбурга – в Петербург, куда он явился уже вместе с распоряжением Гоголя Плетневу получить деньги у барона Штиглица, – дальнейшую судьбу ценной бумаги проследить невозможно…

VII

Через два месяца, дождавшись, когда весеннее солнце основательно прогреет люто холодную, по его представлениям, Заальпийскую Европу, Гоголь двинулся из Неаполя на север, поставив целью вояжа Франкфурт.

Он ехал, как всегда, не спеша и не кратчайшим путем – заехал на побывку в Рим; завернул во Флоренцию; подождал парохода в Генуе; погулял по Марселю; погостил в Париже и, наконец, 10 июня добрался до квартиры Жуковского в доме Зальцведеля во Франкфурте на набережной Майна.

Из Франкфурта он отправил 20 июня то самое письмо, в котором дал поручение Прокоповичу отыскать *другого Гоголя* в Петербурге.

Николай Васильевич не стал сообщать гимназическому товарищу те дополнительные сведения о *не-Гоголе*, которые он сообщил Жуковскому и Плетневу в письмах к ним из Неаполя, а именно: что *другой Гоголь* был женат; что у него были дети; что он был человеком «беспутным и безденежным»; что долгое время он жил во Франкфурте, где водил дружбу с *другим Жуковским*…

Впрочем, *Красненькому*, похоже, и не нужны были никакие дополнительные сведения. Розыск по делу о другом Гоголе он провел быстро и без раздумий. Бодрый рапорт его Николаю Васильевичу от 27 июня, рисующий мнимые достижения, был таков:

> «Поручение твое о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамильце я выполнил; но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слыхал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести. Впрочем, на всякий случай я просил управляющего конторою агентства Языкова предупредить всех книгопродавцев, с которыми со всеми она имеет сношения. Весь твой Прокопович».

С 22 июня по 7 июля Гоголь не сотворил ни одного послания. Его целиком захватила работа над «Авторской исповедью». Именно в эти летние дни, дойдя до средины сокровенного сочинения, он написал:

«Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных».

Прокоповичу он не ответил. Сил на письмо не осталось.

Гоголь и смерть

Гоголь умер от литературы. Умер от «Мертвых душ». С самого начала ему открылись три свойства этой поэмы: 1) торжественная громадность; 2) постоянная отдаленность конца; 3) генетическая принадлежность Небу.

Час, когда произошло открытие, неизвестен. Известен день – 12 ноября 1836 года. Этой датой помечено письмо Гоголя к Жуковскому, которое было отправлено из Парижа. О поэме в письме говорится:

> «Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом».

Это было сообщено в ясном и радостном сознании. Не было ни малейших признаков отчаяния или страха перед громадностью, небесностью, нескончаемостью. Гоголь был окрылен. Потому что творение творилось – Гоголю писалось. «„Мертвые“ текут живо», – докладывал он Жуковскому в том же письме.

Сейчас хорошо известно, что далеко не всегда поэма текла так, как в 1836 году в Париже, и как в последующие четыре года в Риме.

К недостижимому концу «Мертвые души» в разное время и в разных городах Европы текли по-разному, – иногда не текли совсем. Но что бы ни происходило с небородной поэмой на земле – в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, России, – Гоголь твердо знал, что он трудится. Работает. Пишет «Мертвые души». Всегда, везде. И это знал не только Гоголь. Это знали все.

С средины 40-х годов поэма потекла так, что Гоголь в работу верить перестал. Вера в планомерную, отмеренную, размеренную, ежедневную и спокойную работу, спасающая романистов во все времена и во всех углах мира, напрочь исчезла из души Гоголя. Явилась другая – небывалая – вера. Гоголь выразил ее в письме к неизвестному адресату, которое было датировано 1846 годом и помещено в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Говоря о причинах сожжения второго тома «Мертвых душ» – «пятилетнего труда, производимого с таким болезненным напряжением», – Гоголь объявил:

> «Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных

лет».

Совершится/напишется целый том грандиозного творения – не за несколько лет, как раньше, а за несколько недель.

Каким образом?

Конечно, нельзя отрицать, что у Бога есть разные средства воздействия на Свой мир, в том числе и такие, которые заставляют говорить о чудесных явлениях.

«Мертвые души» должны были писаться. Они должны были писаться быстро и без помех. Потому что они должны писаться не силой будничного труда, а силой божественного чуда, совершающегося в «урочное время».

Это было четвертое свойство поэмы, которое открылось Гоголю и которое, может быть, не всегда проявлялось в полной мере.

В полной мере проявилось другое.

Весной 1845 года Николай Васильевич сообщил в послании из Франкфурта другу души – фрейлине двора, супруге калужского губернатора – Александре Осиповне Смирновой:

> «Бог отъял на долгое время от меня способность творить».

Умирание Гоголя началось именно с этого времени.

Внешний образ своей смерти, то, *как* он будет умирать, Гоголь нечаянно обрисовал угадывающим или наколдовывающим пером еще в молодости – в «Старосветских помещиках».

Главные герои – Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович – умирают *ни от чего*, или, как сказал бы доктор Тарасенков, участвовавший в медицинском спасении умирающего Гоголя, от «непреклонной уверенности в близкой смерти».

«Я знаю, что я этим летом умру», – объявляет Пульхерия Ивановна супругу, заверяя его при этом, что она ничем не больна.

«Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», – произносит Гоголь в четверг 14 февраля 1852 года, за неделю до своей кончины, в то время как сбитый с толку Тарасенков не может обнаружить «никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание», и самым очевидным симптомом остается неизменная картина: Гоголь в полной памяти лежит на диване, не отвечая на вопросы медиков («в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами», – перечисляет доктор подробности с добросовестной зоркостью, как будто они могут пригодиться для диагноза).

Без тени сомнения, *что так может быть*, Гоголь описывал в «Старосветских помещиках» эту странную уверенность в смерти,

приводящую к смерти в обход медицинских причин:

> Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи… Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долго молчания как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами – и дыхание ее улетело.

Современники же, видевшие Гоголя в его предсмертные дни, не в состоянии были поверить в саму возможность такой кончины.

«Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно так, как бы здоровый», – уверяет Николай Берг.

«В положении его, мне казалось, более хандры, нежели действительной болезни», – вторит ему Степан Шевырев.

Но не только друзья-литераторы не могли заметить в Гоголе болезни; не только квалифицированные доктора, в том числе и знаменитый Иноземцев, «отзывались об ней неопределенно». Даже те два пресловутых лакея (возбужденно описанных Львом Арнольди), которые намеревались насильно поднять Гоголя и поводить его по комнате, – «размотать», «раскачать», чтоб он «очнулся» и «захотел жить», – чуяли чутьем своих организмов, что болезнь здесь отсутствует: «Какая у него болезнь-то… никакой нет, просто так…».

Навещавшие дом графа Александра Толстого на Никитском бульваре в февральские дни 1852 года находились не то чтобы в полной – в сокрушительной растерянности. Понять, что происходит с Гоголем, почему он, по его настоятельным словам, близок к смерти (и близок ли), было невозможно. Слова же были впечатляющими. Никакого возражения, и даже обсуждения, они не предполагали, как и слова Пульхерии Ивановны.

«Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», – сказал Гоголь Алексею Хомякову.

Но впечатляющими были и явления.

Вслед за готовностью умереть, не подкрепленной «объективными симптомами», вдруг стало «обнаруживаться», как выразился Михаил Погодин, «совершенное изнеможение». Жизнь вдруг стала неуклонно уходить из Гоголя, так же, как она уходила из Афанасия Ивановича, который через несколько лет после странной смерти супруги и сам странным образом уверовал в скорую кончину, прогуливаясь по саду:

> Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя.

С той же покорностью смерти таял и Гоголь, не желая принимать медицинскую помощь и вступать в разговоры с друзьями, старавшимися по-своему «размотать» и «раскачать» его.

Однако покорность возникла не сразу.

Смерти он сопротивлялся без малого семь лет, о чем друзья не подозревали, полагая, между прочим, что второй том «Мертвых душ» сочиняется более или менее благополучно с тех самых пор, как в декабре 1840 года Гоголь в письме к Сергею Аксакову дал знать о продолжении поэмы, которое обещало быть «чище, величественней» и превратиться в «кое-что колоссальное».

С весны 1845 года, когда Гоголю открылось то, о чем он поведал Смирновой – «Бог отъял на долгое время от меня способность творить»; когда стало ясно, что небесные «Мертвые души» могут на земле не писаться должным образом; когда обнаружилось, что чудесный «урочный час», не подчиняющийся законам земного времени и нормам «болезненного труда», может не наступать смертельно долго, в Гоголе наряду с верой в законное чудо стала возрастать вера в нечто постороннее, не имеющее отношения к свойствам поэмы.

Ему стало вериться, что «Мертвые души» сдвинутся с места и полетят, одолевая колоссальные пространства второго тома, в бесконечную даль, если ему доставят большое количество («кучу», как он выражался) каких-то необыкновенных сведений о России – о ее мужиках, помещиках, взяточниках, должностях, присутствиях, губерниях.

Более того, как свидетельствует письмо, которое он отправил Смирновой зимой 1847 года из Неаполя, им овладела идея, что без «полного знания дела», – то есть без сведений о России от калужской губернаторши и от прочих близких и дальних лиц, – его жизнь как творца, спасающегося творением, уже невозможна.

«Способность создания, – писал он Александре Осиповне, – есть способность великая, если только она оживотворена благословением Бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее, как следует, в дело. А употребить ее, как следует, в дело я в силах только тогда, когда разум мой озарится полным знанием дела. Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять».

Чтобы не ленились и хотели, он прибегал то к хитрости, то к мольбам, то к гипнотическим заклинаниям.

Конечно, нельзя не заметить, что эта вера находилась в полном противоречии не только с сущностью «Мертвых душ», но и со всем существом их автора.

Гоголь не мог сотворить творения из сведений.

Он сам свидетельствовал о том, что даже проницательный Пушкин до конца не понял главное свойство его таланта – извлекать образы из себя самого. То есть вызывать их к жизни не силой неких точных, добытых прямо из недр действительности сведений, а силой художнической интуиции, связывающей его с Небом, где хранятся слова всех великих поэм и откуда разом видны все помещики, мужики и губернии. Но он продолжал понуждать своих корреспондентов к добыванию, собирательству и доставке этих бессмысленных для его дара сведений. Он желал, чтобы сведения для «Мертвых душ» текли бесперебойным, живым, сверкающим и не показывающим своего конца потоком, как текли когда-то в Париже и в Риме сами «Мертвые души».

Нужно признать, тем не менее, что какой бы драматической и даже трагической ни казалась эта вера в подобие работы над подобием поэмы, она все-таки помогла Гоголю выстоять – замедлить умирание.

Семь лет он уклонялся от послушного таяния и угасания, скрываясь от тех неумолимых «Мертвых душ», о свойствах которых ему было известно абсолютно всё и которые ни в чем не нуждались, кроме воли Бога вернуть автору «способность творить».

Невозможно сказать, в какое именно время Гоголю открылась тайна того, чем кончатся «Мертвые души» – то есть, конечно, не сама поэма, чуждая по своей небесной природе финальной точки, а углубленная работа над ней. Может быть, это случилось еще в самом начале – той осенью 1836 года, когда в Париже сочинялись первые главы первого тома под диктовку «кого-то незримого». Или позднее – зимой 1843 года в Ницце, когда Гоголь «набрасывал на бумагу», радуясь ясным и безветренным дням, «хаос» второго тома и сообщал между делом в письме к Жуковскому об открытиях, связанных с погружением в поэму:

> «Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания. И видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит всё тем же: одною полною и благодарною молитвою».

Да, именно так: кончит молитвою… За «полною и

благодарною молитвою» последует оставление углубленной работы, а за оставлением работы – смерть.

В последние дни Гоголь часто и подолгу молился, уже не помышляя о какой-бы то ни было работе над поэмой, а тем более о спасении медициной или дружескими беседами. Он давно и хорошо знал, что «Мертвые души» – это то творение, от которого умирают, если оно не пишется.

Таково было пятое – главное – свойство поэмы.

Гоголь и элементарные частицы

Австрийский мыслитель Людвиг Витгенштейн сообщил миру в «Логико-философском трактате» (1921) самую элементарную и самую универсальную языковую форму, которая способна «дать описание предложений *любого* знакового языка».

Каким бы ни было предложение – утвердительным или отрицательным, простым или сложным, полным или неполным, внятным или невнятным; что бы оно ни содержало – ложь или истину, вымысел или реальность, страсть или безразличие, – словом, на какой бы манер и о каких бы событиях, состояниях и явлениях оно ни возвещало, включая сюда и отказ о чем бы то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно всё.

На языке оригинала (немецком) форма выглядит так:

«Es verhalt sich so und so».

Ее русский эквивалент гласит: «Дело обстоит так-то».

В трактате она носит название «самого общего предложения-формы». То есть не только *формы*, некоей пустой матрицы, готовой к принятию и развертыванию в своих драматически непреодолимых рамках любого количества слов и смыслов, но и полноценного *предложения*. Мало того, по мысли Витгенштейна, именно это предложение сообщает нечто самое существенное и даже единственно достоверное о бытии мира: дело обстоит так-то.

Некоторые комментаторы и исследователи склонны рассматривать универсальное предложение-форму Витгенштейна как мельчайший и неразрушимый первоэлемент логики, как своего рода элементарную частицу «логической вселенной».

В области духа и интеллекта, как видим, тоже велись и ведутся поиски своих электронов, протонов, нейтронов, частиц Юкавы и кварков.

В рамках рецензионной деятельности человечества неоценимый вклад в эти поиски внес в свое время и Николай Васильевич Гоголь, открывший универсальную, или *самую общую рецензию-форму*, которая, как и знаменитый логический первоэлемент Витгенштейна поражает величайшей самодостаточностью, высокой ясностью и предельной простотой.

Открытие произошло случайно, в 1836 году.

Какой-то неустановленный беллетрист, скрывавшийся под инициалами Я. А., написал и выпустил в Санкт-Петербурге

отдельным изданием небольшую повесть. Содержание и сюжет ее не имеют для дела абсолютно никакого значения. Книга попалась в руки Николаю Васильевичу, который как раз в это время, проклиная жестокую петербургскую стужу (был февраль), согревал кровь регулярной работой – сочинением рецензий для «Современника».

Гоголь добросовестно ознакомился с повестью, занес пером на чистый лист выходные данные издания и принялся обдумывать рецензию.

Никому неизвестно, конечно, какие мысли и чувства посещают открывателя за минуту до открытия. Быть может, Гоголю хотелось самым беспощадным образом распечь г-на Я. А., и он уже подбирал для этого в уме какие-нибудь желчные слова, сидя у окна и прислушиваясь к свистящему дыханию ненавистных морозов. Или, быть может, напротив, греясь у камина и вслушиваясь в ровное гудение огня, он думал о том, что недурно было бы и похвалить сочинение неизвестного автора. Но нельзя исключать и того, что повесть произвела на Гоголя такое впечатление, что он вовсе и не желал подходить к ней с прямыми оценками, а намеревался выстроить на ее примере ряд рассуждений об отечественной литературе, которые в свою очередь обещали породить еще целый ряд заманчивых рассуждений. Ему, может быть, уже приходили на ум и некоторые фразы для такого строя рецензии; они разрастались, сгущались, наплывали одна на другую, словно подвижные февральские тучи, и разглядеть за ними ту крохотную драгоценность, ради которой Провидение свело его с книгой загадочного Я. А., уже не было никакой возможности. Как вдруг всё рассеялось, всё прояснилось. И Гоголь отчетливо увидел ее, эту элементарную частицу «литературно-критической вселенной».

Он увидел рецензию, которая поразила его предельной краткостью и неоспоримой объективностью. Это и была самая общая рецензия-форма, открывшаяся Гоголю во всем своем совершенстве и законченности. В качестве формы она была применима к любому новорожденному литературному произведению, каким бы оно ни было и о чем бы ни говорило. В качестве рецензии как таковой она сообщала о жизни произведения нечто самое существенное.

Гоголь быстро ее зафиксировал.

Вот она:

> «*Убийственная встреча*, повесть Я. А. Спб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в. 8, 113 стр.

Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее».

Тайная история творений

Последняя матаморфоза Овидия

В истории мировой литературы нельзя найти сочинителя более недооцененного, чем римский поэт Августова века Публий Овидий Назон.

Его всесветная, двадцативековая слава говорит сегодня лишь об одном – о грандиозном жестокосердии потомков, воздавших поэту должное за всевозможные второстепенности, но отказавших ему в признании его первостепенной заслуги перед искусством, а значит, и в истинной славе, на которую втайне рассчитывал (и был вправе рассчитывать) Овидий Назон.

Он рассчитывал на эту славу, вглядываясь, конечно, в века гораздо более отдаленные от «золотого» Августова века – райского века для римской литературы. Пожалуй, слишком уж райского, чтоб быть восприимчивым к катастрофической новизне. Во всяком случае, счастливые жители этого временно́го (и вре́менного) элизиума, непосредственные свидетели величайшего творческого открытия, совершенного «злополучным Назоном», свидетели рядовые и вовсе не рядовые, те, кого аонийские сестры возвысили над просвещенной толпой, похитив их имена у Леты, – историк Тит Ливий, географ Страбон, оратор и декламатор Квинт Гатерий, законовед Атей Капитон, моралист-баснописец Федр, грамматик Антоний Руф, поэт Корнелий Север и оратор Кассий Север, сам божественный Август и даже верховный блюститель Палатинской библиотеки Гай Юлий Гигин, видавший виды и читавший все чтимое, – не в состоянии были понять того, что случилось с Овидием осенью года 761 от основания Рима, или 8 по Р. Х.

Ибо случившееся – в чем убеждают нас некоторые красноречивые факты – не распознавалось современниками Назона как явление реальной, мифологической или какой-нибудь иной действительности, которая позволяла бы строить о природе своих вещей вразумительные суждения.

В течение целого десятилетия, начиная с той переломной осени, когда поэтом внезапно овладел необыкновенный творческий замысел, в ослепительном свете которого ему показалось жалким все им написанное и писавшееся, когда вдохновение странного свойства, сулившее породить невиданный плод, заставило его бросить в огонь рукопись еще не завершенных «Метаморфоз»: пышный ночной костер, сдобренный ливианским папирусом, как бы символизировал разлуку поэта со всяческой достоверностью, будь то миф или явь, – начиная с этой осени и до конца своих дней Овидий-художник всецело находился за

пределами, так сказать, умственной и чувственной ойкумены, освоенной веком Августа.

Но и в последующие времена – говорят нам факты, – во времена, заселенные иными цезарями и иными служителями аонид, нельзя было осознать и прочувствовать, какая великая метаморфоза произошла на заре принципата с автором славных «Метаморфоз» (все ж таки уцелевших – переписанных еще до сожжения беспощадно заботливыми друзьями). Как бы живо ни откликались на события Августова века новые граждане античной реальности – Сенека, Светоний, Тацит, Плутарх, Плинии Старший и Младший, – с какой бы вдумчивостью они ни всматривались в легендарные судьбы одаренных отцов, для них оставалось непостижимым, что делал Овидий Назон с 8 по 18 год на северной окраине Рима, на Садовом холме (совр. Монте-Пинчо), неподалеку от Тибра, где разветвлялись Клодиева и Фламиниева дороги и где стояла, живописно окруженная зонтообразными пиниями и кустами ароматного мирта его загородная вилла – сад, как простодушно называл сам Овидий это заветное и роковое место, облюбованное его коварной Музой, чье деспотическое могущество он испытал на себе в полной мере[2]:

> Эти простертые под эриманфской Медведицей земли
> Не отпускают меня, выжженный стужею край, —

говорил он, изобличая в тиранстве свою Музу, превратившую его в пленника неистребимых грез:

> То я вижу себя от стрел сарматских бегущим,
> То для тяжелых оков руки дающим врагу.

Но как же это случилось?

Как случилось, что на 52 году своей жизни он вдруг увидел Понт, «вечною стужей знобимый», увидел «гетов лохматых», угрюмо стерегущих в ночи от сарматских нашествий свои чахлые, но безбрежные нивы, раскинувшиеся «под Полярной звездой», увидел «побережья холодного Истра», увидел некую чудовищную пустыню, отчизну сверкающего Борея, «где Ликаонова дочь ось над землею стремит», – увидел весь этот чудный и страшный простор, «не отпускавший» его десять лет?

Что за вопрос! Осведомленному жителю нынешнего века все известно до мельчайших подробностей.

Известно, что будто бы осенью 8 года Овидий ненадолго покинул Рим вместе со своим задушевным другом Коттой

Максимом. Они отправились отдыхать на остров Эльба в Тирренском море (ок. 200 км к северу от Рима), где находились наследственные владения Котты, знатного и богатого юноши, чей батюшка, Валерий Мессала, недюжинный полководец и одаренный оратор, покровительствовавший Овидию, скончался этой же осенью.

Друзья благополучно добрались до острова и расположились в имении рода Мессалы. Они приятно проводили время за декламацией стихов, за вином, за утонченными беседами; с грустью вспоминали старого Мессалу, «красу латинской витийственной речи»; совершали утренние прогулки по прибрежным холмам, покачиваясь в паланкинах, обменивались пустячными соображениями за дружеским обедом. Как вдруг (о, это поворотное – «вдруг», друг всех историй!) является гонец из Града от самого Августа! И является он с таким предписанием, от которого в сердца обоих друзей веет духом захватывающего кошмара, ибо оно вполне фантастично. Настолько фантастично, что Котта Максим, который хорошо посвящен (даром что юн) в таинство высочайших дел и намерений, сомневается в честности (или в благополучии душевного здоровья?) цезарева гонца. «Точно ли прав принесший известие?» – вопрошает он. Что может ответить на это поэт – голова его идет кругом, сердце разрывается на части:

> Я колебался в ответ, меж двух обретаясь сомнений,
> В явном страхе не знал, «да» отвечать или «нет».

Смысл зловещего предписания состоит в том, что потомственный всадник и поэт Публий Овидий Назон должен немедленно явиться в Рим и предстать перед цезарем, дабы узнать о своем наказании. Потому что теперь он преступник… Да! И «злая молва» уже твердит о его «злополучье»… и слезы уже текут, «как растаявший снег под дыханием влажного Австра» по «скорбной щеке» поэта. И спасения нет. Или все ж таки есть? Есть еще свет надежды на пробуждение от кошмара – нужно только не погружаться в его общий, невыносимо тягостный смысл, нужно сосредоточиться на второстепенных деталях, и тогда, быть может, какая-нибудь из них дружественно подмигнет околдованному рассудку, подавая ему драгоценные знаки. Вот она, эта спасительная деталь: гонец, несмотря на грозную важность и высшую официальность убийственного предписания, требующего однозначной трактовки и немедленного исполнения, не предъявляет самого предписания – не предъявляет вообще никакой бумаги, написанной или заверенной принцепсом. Ну,

конечно, конечно! это и позволяет поэту какое-то неопределенное время «обретаться меж двух сомнений» – меж двух несовместных миров. Да что там, это ему позволяет радостно уличить гонца в злохитренной призрачности!..

Но поэт уличать не стал. Известно, что он отправился в Рим.

Известно, далее, что, очутившись в Граде, он тут же предстал перед лицом Августа. Август ужасен, он весь охвачен мстительным гневом. Он выглядит так, словно только что пережил самое подлое и свирепое оскорбление. Оно уязвило его до сокровенных глубин души. И из глубин его души, воспрянувшей для возмездия, неукротимо вздымается пламя гнева. Но гнев этот в то же время совершенно безличен, он лишь проявление некоей возвышенной, самосущей ярости, которая должна обрушиться на поэта независимо ни от чего. И вот она уже обрушивается. Вот уже рисуется перед Назоном по-своему величественная картина его чудовищных преступлений. И поэт уже не понимает, как мог он усомниться в том, о чем ему возвестил на Эльбе страшный гонец! Как мог он не поверить в то, что он преступник! О, теперь-то он отлично ощущает, сколь тяжки его грехи перед Римским Законом, и он даже знает, докуда должен «простираться гнев» послушного Закону принцепса – «до казни». Остается молить милосердных богов лишь о том, чтобы римский Сенат как можно быстрее утвердил справедливое решение и чтобы казнь его была незатейливой… Но что это? Чудится ли это Назону или на самом деле перед глазами его эта бумага! Нет, это не постановление Сената или Особого суда. Это – изданный Августом эдикт, специальная форма указа, к которой принцепс может прибегнуть в исключительных случаях, когда дело нельзя подвергнуть ни следственному, ни судебному разбирательству, – когда самого дела как бы и вовсе не существует, ибо оно не подпадает ни под какие действующие законы… И что же видит Назон! Боги щадят его. Из указа явствует, что Назон не лишается жизни! Не лишается он и гражданских прав. Не лишается всаднического достоинства. Но и это еще не все. Ни малейшая часть его личного имущества не отчуждается у него. Таким же образом и все его достояние – «наследие предков» – дом у самого Капитолия, земли и, конечно же, вилла близ Тибра, излюбленное обиталище его странной Музы, остаются за ним.

Все, что требуется от Назона, так это немедленно удалиться – «к припонтийским отправиться пашням,/ Мчащейся в ссылку кормой скифскую резать волну». То есть цезарь приказывает Назону тотчас взойти на корабль «Шлемоносная Минерва», хранимый «приязнью белокурой богини», той же самой богини,

что охраняла корабль Ясона, и мчаться на этом стремительном корабле, собрате мифического «Арго», туда, «где кончается свет», на северо-восток, до «предела земного круга», в места, за которыми только «ничто: только холод, мрак и безлюдье»… О, эти загадочные места, известные в Риме «лишь по названьям». О, эти демонические пространства! О, эти искристые вихри под летучей луной!.. Томы… Томы… призрачный огонек, тускло мерцающий за пределами мира, озаренного светом разума и сиянием римских мечей. В Томы! – в это скопище чадных убежищ, в этот немыслимый городок полудиких сарматов и гетов, еще не знакомых с латинской речью и властью цезаревых наместников, в эту гибельную страну, в эти злосчастные степи, любезные только Борею, да буйно странствующим народам, – вот куда должен мчаться Назон!

Что ж, хорошо известно, что Назон безупречно исполнил приказ.

Он быстро собрался. Так быстро, что «не успел для себя ни рабов, ни спутника выбрать», – он даже «платья не взял» и «никаких ссыльному нужных вещей», потому что приказ, высочайший приказ, выше которого только воля богов, не допускал ни малейшего промедления, – простился с домашними и родными; сам не зная зачем (приспел такой феерический час, когда «луна в небесах ночи коней погнала»), бросил в «жадный огонь» торопливой рукой «песни о людях, менявших свой облик» и навсегда исчез для великого Рима, для ясного мира.

Вот как случилось, что Назон «и Скифию тоже увидел»… Был гонец. Был гнев. Был корабль. И был роковой приказ, который…

> …и привел меня в край, безотрадный для взгляда,
> Где под морозной звездой берег Евксинский лежит.

В этом-то краю, в Томах (совр. Констанца в Румынии), Овидий – что тоже известно наилучшим образом – и создал свои самые жалкие, самые отвратительные, являющиеся порождением старческого бессилия, невыносимые произведения, в которых, как авторитетно трактует «История всемирной литературы» (Т. 1, М., 1983), он «обнаруживает заметный упадок поэтической изобретательности… изощряется в бесконечных вариациях одной единственной темы – скорби изгнанника, но преодолеть однообразие материала ему уже плохо удается, и он начинает оскудевать и повторяться», – в которых, по заключению разнообразных исследователей, поэта Овидия уже нет, ибо он превращается из поэта в ничтожного льстеца Августа, в малодушного просителя, кое-как сплетающего и посылающего в

Рим свои назойливо-горемычные песни в надежде, что они подвигнут влиятельных друзей на заступничество, а цезаря на снисхождение.

И, наконец, известно, что эти песни, эти «Скорбные элегии» и «Послания с Понта», – о них, о них идет речь! – не спасли Овидия: никто не изменил его участи. Он так и не вернулся, говоря языком скандинавских мифов, из мрачного и холодного Утгарда – окраинной зоны земли, где властвуют демоны и где страшное великолепие бессмысленных просторов не способно соперничать с их враждебностью.

Да, мы всё знаем! – немилосердно твердят потомки… Впрочем, классический российский ученый Михаил Гаспаров, обнародовавший в 1978 году в составе научного издания «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта» (М., «Литературные памятники») обширную академическую статью «Овидий в ссылке», был уже, кажется, в полушаге от милосердия. Но всё, что ему могла позволить репутация строгого мыслителя, так это осторожно выразить ни к чему не обязывающее, не нарушающее научно восстановленную картину Назоновой ссылки как бы традиционное недоумение по поводу некоторых очень странных странностей, и прежде всего вот этой:

> «Наказание было очень суровым… Но ни современники, ни ближайшие потомки (как Сенека), ни позднейшие историки (как Тацит) не оставили нам ни единого упоминания о ссылке Овидия, хотя порою, казалось бы, этот пример сам просился им под перо. Всё, что мы знаем, мы знаем из упоминаний самого Овидия в „Скорбных элегиях“ и „Письмах с Понта“. А упоминания эти, хоть и многочисленны, удивительно неопределенны».

Ну, конечно, конечно! нужно только попробовать вообразить себе это: Сенека, не просто «ближайший потомок» – его отрочество и юность пришлись на зрелые и старческие годы Овидия, – пишет трактат «О милосердии», где в одном месте (I, 11) противопоставляет кротости молодого Нерона жестокость Августа, и, пользуясь для этого разнообразными примерами, упорно молчит о том, что Август сослал за пределы мира в смертоносные степи одного из величайших поэтов своего правления, и несмотря ни на какие мольбы последнего, не только не вернул его оттуда, но даже не изменил место ссылки на более безопасное, что было в порядке вещей, особенно если речь шла о полноправном римском гражданине, чье убийство или пленение какими-нибудь язигами, колхами или буйными томскими

сарматами явилось бы недопустимым оскорблением священной власти Рима.

Нужно только попытаться представить беспредельное лукавство осведомленнейшего Светония, который во второй книге «Жизнь двенадцати цезарей» упоминает среди сосланных Августом знаменитостей даже какого-то несчастного пантомима Пилада, но при этом делает вид, что он не имеет ни малейшего понятия о «нашумевшей» ссылке выдающегося стихотворца, а в четвертой книге, перечисляя опальных писателей, чьи творения были запрещены и изъяты из библиотек во времена Августа и Тиберия (со слов Овидия, таковая участь постигла, разумеется, и его песни), не удосуживается вспомнить, шельмец, о нашем бедном поэте, хотя называет его друга Кассия Севера, высланного из Рима в том же 8 году. Нужно только вглядеться в обстоятельные труды Тацита, в сочинения Плутарха, в письма Плиния Младшего… Нет! Ничего этого не нужно делать.

И современники, и «ближайшие потомки», и «позднейшие историки» очень высоко ценили и почитали, судя по их упоминаниям, блистательного автора «Медеи», «Любовных элегий», «Фаст», «Науки любви» и, конечно же, несравненных «Метаморфоз». Но они еще не в состоянии были хоть как-нибудь реагировать (хотя бы просто сказать, что Овидий сошел с ума!) на такие вещи, которые лежат между мифом и явью – на художественный вымысел, и притом такой утонченный вымысел, который вбирает в себя узнаваемые черты реальности и в центре которого стоит собственное «я», сознательно превращенное в литературный персонаж. И поэтому всё, что требуется для понимания «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта», так это непредвзято вглядеться в эти более, чем гениальные произведения. Для понимания Овидий оставил немало знаков.

В чем состояла причина его ссылки? Какова была его вина?… О! тут Овидий виртуозно показал, что вина его – это всего лишь второстепенная художественная условность, которая не нуждается в отчетливом оформлении. Ну, допустим, предлагает он, была только одна-единственная причина его злополучной ссылки: «лишь за стихи вредным признали» его, то есть он был осужден цезарем из-за «Науки любви», изданной и ставшей известной всему Риму за восемь лет до того, как вспыхнул вызванный этой вполне безобидной книгой ужасный гнев Августа: фантастически запоздалый и явно идиотский гнев. Нет, отступается Овидий: «Две погубили меня причины: стихи и оплошность». Или все же выразиться вот так: «Пал под гнетом одной, хоть и немалой вины»?… Или как-нибудь более замысловато, двояко: «Я ничего не свершил из того, что закон

запрещает,/ Но за собою вину бóльшую должен признать»… А может, представить, что он «стал жертвой» неких «недавних событий»?… Или только «свидетелем гнусных и пагубных дел»… Да-да! «глаза провинились, увидевши нечто»!.. Нет, лучше взять и грозно внушить, что его бедственная вина была настолько чрезвычайной и «тайной», что о ней «говорить и опасно, и долго», и в то же время, сбивая с толку, обиженно заявить, что она «даже слишком известна повсюду», чтоб ему «самому тут показанья давать». И, наконец, сказать с отчаянной прямотою грядущим буквалистам и буквоедам, которые, не замечая в искусстве искусства, станут искать ответа, в чем согрешил Назон:

> …искать ответа не нужно,
> Пусть за «Наукой» моей спрятана будет вина.

Но и это, увы, не помогло. Буквалисты и буквоеды упорно искали его химерическую вину. И поиски их породили столь же химерическую, всепланетарного размаха книгу – Thibault J. C. *The mystery of Ovid's exile*. Berkeley, California UP, 1964, – в которой по поводу вины Назона изложено аж сто одиннадцать научно аргументированных мнений!..

Почему Овидий ведет речь именно о том «рубеже у левого берега Понта», где расположены Томы? Да по той же самой (внутренней, художественной) причине, по которой он дает своему кораблю имя богини Минервы. Место это, как и название корабля, прочно связано с мифом, который Овидий наиболее широко использует для сюжетного оформления «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта», – с мифом о Ясоне, чью судьбу Овидий открыто и подчеркнуто сравнивает со своею судьбою.

По преданию, именно на том месте, где возникли Томы, разворачивалось наиболее трагическое – и наименее сказочное – событие Ясоновых странствий. Сюда, повествует Овидий в «Скорбных элегиях», Ясон приплыл вместе с волшебницей Медеей и ее малолетним братом Абсиртом «на корабле, что воинственным был попеченьем Минервы/ Создан и первым прошел даль неиспытанных вод». Беглецов, похитивших Золотое руно, преследовал отец Медеи, царь колхов Ээт. Завидев его корабли, приближающиеся к берегу, Медея решила остановить родителя самым жестоким способом – она расчленила своего брата и вывесила его руки и голову на прибрежной скале… «Томами с этой поры зовется место, где тело/ Брата родного сестра острым мечом рассекла», – говорит Овидий, на которого всегда производил неотразимое впечатление, как это справедливо замечает С. Ошеров в предисловии к «Метаморфозам» (М., 1977),

образ Медеи, совершившей злодеяние ради любви к Ясону, то есть поражал его, в сущности, определенный фрагмент мифа о Ясоне – великая драма, разыгравшаяся с его любимыми героями в треклятых Томах.

Описание Том как места своей ссылки было, пожалуй, самой трудной задачей для Овидия – и, быть может, не столько творческой, сколько психологической. Он уже возвысился над мифом; миф уже служил лишь подручным материалом для его собственных вымыслов. Но Томы, невообразимые Томы, о которых даже Страбон, только что выпустивший в свет свою «Географию», не имел реалистичных сведений, – Томы Овидий вынужден был описывать, полностью подчиняясь мифологическим представлениям о северо-восточных окраинах ойкумены.

Здесь есть всё – и «вечный снег», и фантастический ветер, который «башни ровняет с землей, сносит, сметая, дома», и «отвратительные с виду в шкурах звериных люди», у которых «ледышки висят в волосах и звенят при движеньи», и замерзающие вина, которые не пьют, а нарубив топором, поедают «кусками» (образ позаимствованный Овидием из «Георгик» Вергилия, III, 364), а также вина, которые «сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов», лопнувших от мороза (см. «Географию» Страбона, кн. VII, III, 18), и «твердое море», промерзающее так, что по нему «как посуху путник пройдет» (см. там же), и рыбы, живьем «торчащие изо льда», и многие другие образы, вызывающие некоторое замешательство у всякого добросовестного ученого, по крайней мере, у Гаспарова, сказавшего о них вот что: «Бросается в глаза, что все они заранее знакомы Овидию и его читателям из популярных географических и этнографических книг – всё это были факты настолько общеизвестные, что даже нет нужды искать для них те или иные „источники Овидия“, хотя, например, не шутя предполагалось, что он мог взять в ссылку вместо путеводителя „Географию“ Страбона, которая была свежей новинкой в 8 г. н. э.».

Однако замешательство это, – речь ведь все-таки идет о ссылке, реальной ссылке! – тут же устраняется. «Овидий как бы сознательно стремится превратить свои образы, – объясняет ученый, – в условные знаки, чтобы читатель не задерживался на них взглядом, а проникал за них мыслью».

Да, надеясь на понимание далеких потомков, надеясь, что они хотя бы на чем-нибудь задержатся взглядом, Овидий многое превращал в безусловно ясные знаки. Зачем-то повторял на каждом шагу (словно его научил этому автор «Носа»), что «всё было подлинно так, но не поверит никто», что «мой достоверный

рассказ невероятным сочтут». Зачем-то произнес слова, которым звучать бы из уст какого-нибудь изощренного сочинителя xx века, ну, скажем, Набокова, обвиненного скучающими щелкоперами (ах, эта «Лолита»!) в педофилии: «Муза игрива моя, жизнь – безупречно скромна./ Книги мои в большинстве – один лишь вымысел лживый/ И позволяют себе больше создателя их». Зачем-то написал поэму «Ибис», которая, по признанию недоумевающих филологов, является сознательной, утонченной и до крайности ёрнической пародией на «Скорбные элегии» и «Послания с Понта». Зачем?… Зачем?…

Впрочем, оставим эти вопросы и зададимся наконец последним и главным.

Была ли вся мистификация заранее обдумана Овидием или она возникла совершенно случайно?

Быть может, на него произвела неизгладимое впечатление «География» Страбона? Она ведь была не просто «свежей новинкой», как выражается с явным лукавством Гаспаров, а грандиозным, ошеломляющим творением, не знавшим себе равных по охвату описанного в нем мира. Ах, как было заманчиво перенестись воображением на самую границу этого мира, замкнуться, спрятаться ото всех на Садовом холме близ Тибра и мнить, доверившись Музе, будто «живешь по соседству» с какой-нибудь страшной страной, «что лежит у предела земли и откуда/ Люди и боги бегут»… Или, быть может, «Метаморфозы», писавшиеся с необычайной проникновенностью, побудили его изобразить свою собственную метаморфозу – внезапное превращение из беспечного и прославленного поэта в некоего скорбного и таинственного преступника, который «изгнан в предел ледяной крайнего круга земли»? Но очень может быть, что «Скорбные элегии» и «Послания с Понта» создавались в едином – безотчетном и вдохновенном – порыве. Вдруг явилась и повела, понесла за собою какая-нибудь безумно красивая, трагически возвышенная строка, вот эта:

> Изнемогая, лежу за пределами стран и народов…

Или другая:

> Маюсь в бесплодных песках отдаленнейшей области света…

Нет, на этот вопрос действительно нельзя найти ответа. Исток вымысла – предмет чересчур тонкий и неуловимый, чтоб

пускаться по его поводу в рассуждения.

Но как бы то ни было, утешает одно: в защиту реальности Назоновой ссылки невозможно выставить ничего, кроме произведений самого Назона, истолкованных известным – давно известным – и самым неприемлемым для искусства образом. Неискоренимость такого истолкования наводит на мысль, что в нем заключено нечто большее, чем человеческая наивность или бессердечность. В нем заключено, быть может, некое высшее, божественное возмездие за страсть к вымыслу.

Что ж, в таком случае Овидий этого возмездия заслужил.

Сумасшествие Мировой Воли

Не существует свидетельств о том, что Артур Шопенгауэр испытывал острую потребность в посещении сумасшедших домов. Известно только, что он их посещал. Известно также, что особую притягательность дома скорби обрели для философа в тот период его жизни, который принято называть дрезденским, – то есть в тот самый период – с 1814 по 1818 год, – когда Мировая Воля, пользуясь услугами одного из своих носителей, совершала до крайности странное, не вполне здоровое и, пожалуй, даже совершенно безумное действие: рассказывала себе о самой себе.

Разумеется, она делала это не впервые. «Упанишады», «Мадхъямика-сутры», «Бхагаватгита», «Изумрудная скрижаль» – это первые проявления ее возвышенного недуга и первые же страницы в истории ее загадочной душевной болезни.

Болезнь развивалась стремительно. Более того. Если принять во внимание один ошеломляющий факт, который некогда был установлен самой же Волей и который она затем неустанно описывала от первого или от третьего лица в тех или иных вдохновенных словах, сводившихся к следующему: земные тысячелетия равны для меня неощутимому мгновению, ибо существование мое безначально и бесконечно, – если принять во внимание этот факт (в сущности, недоступный никакому вниманию, кроме внимания самой Воли), то можно смело утверждать, что болезнь развивалась молниеносно.

Во всяком случае, уже к весне 1814 года, когда молодой, двадцати шести лет от роду, человек по имени Артур Шопенгауэр, чрезвычайно раздражавший окружающих, и в особенности свою родительницу, Иоганну Генриетту Шопенгауэр, «мрачным выражением лица и странными оценками, изрекаемыми тоном не терпящего возражений оракула», стал подумывать о переселении в Дрезден, болезнь Мировой Воли достигла катастрофического обострения. Такого обострения, которого не смогла бы пережить ни одна отдельно взятая пронизанная и порожденная Волей индивидуальность. Не случайно с этого времени в наиболее резких и откровенных речениях Воли о природе индивидуальности отчетливо слышатся ноты предостережения: *«Индивидуальность – это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть»*. Она не говорит – моя ошибка и мой недосмотр. Это излишне, ибо в мире, по ее наблюдению, нет другого существа, которое могло бы ошибиться и недосмотреть. *«В этом мире явлений,* – было открыто ею, – *существует исключительно воля: она – вещь в себе, она –*

источник всех явлений. Ее самопознание и опирающееся на него самоутверждение или самоотрицание – вот единственное событие в себе». За четыре тысячи лет до этого она, называя себя Атманом, говорила то же самое: *«Нет другого, кто видит, кроме него; нет другого, кто слышит, кроме него; нет другого, кто познает, кроме него».*

И все же некое существо, возникшее в мире по недосмотру или, быть может, напротив, по сокровенному умыслу Воли, – существо, носившее имя Артур Шопенгауэр и обитавшее в одном доме с Иоганной Генриеттой Шопенгауэр, известной в Германии сочинительницей, приняло в мае 1814 года знаменательное решение уехать в Дрезден, чтобы уединиться там для назревающего труда, величие которого уже отчетливо им осознавалось.

Биографы Шопенгауэра, конечно же, не склонны усматривать в этом отъезде из Веймара, положившем начало знаменитому дрезденскому периоду в жизни философа, факт биографии Мировой Воли, как, впрочем, и биографы Мировой Воли, если бы таковые существовали, были бы не склонны усматривать в данном событии факт биографии Шопенгауэра.

Сам Шопенгауэр как таковой (надо сразу это произнести, чтобы дух трескучей теорийки беспардонного доктора Ломброзо не искал здесь себе союзников) находился в абсолютном и нерушимом здравии рассудка и до, и во время, и после названного периода. Он был лишь крайне обижен накануне своего отбытия из Веймара, крайне зол на писательницу Иоганну Генриетту Шопенгауэр. Собственно говоря, и причиной – видимой, явной причиной – его бегства из веймарского дома была озлобленность, вставшая глухой стеной между ним и «этой госпожой», как он с намеренной отстраненностью, чтобы избежать выражений чересчур уж жестоких и пылких, называл свою мать.

Озлобленность возникла еще осенью 1813 года, когда Артур Шопенгауэр, счастливый и окрыленный, явился из Рудольштадта к матери в Веймар. В Рудольштадте вышло в свет отдельной брошюрой его первое философское сочинение «О четверояком корне закона достаточного основания». Он получил за него докторский диплом от философского факультета в Йене. Двух этих оснований – брошюры и диплома – было достаточно для того, чтобы юный доктор пребывал в состоянии того необыкновенного воодушевления, которое его заставило торжественно преподнести матери (сразу же по приезду в ее дом) свой ученый труд. Мать взяла брошюру, повертела ее вялой рукой, утомленно взглянула на заглавие и так же утомленно поинтересовалась:

– Это, вероятно, пригодно аптекарям?

«Выходка», как называют биографы ответный поступок Шопенгауэра, последовала незамедлительно. Артур быстрым движением вырвал из руки Иоганны дарственный экземпляр «Четверояkого корня» и, побледнев, объявил ей, что даже тогда, когда в затхлых подвалах книгопродавцев истлеют, сгниют никому ненужные сочинения Иоганны Шопенгауэр, когда в кладовке самого скаредного собирателя макулатуры нельзя будет отыскать ни единого листка из ее писаний, когда нигде не останется ни малейшего следа ее жизни, когда не останется даже смутного воспоминания о самом ее имени, мир будет читать *Артура* Шопенгауэра.

– Ну, конечно! – насмешливо возразила Иоганна. – Твои творения и в ту пору будут еще нетронутыми.

Так началась беспощадная война самолюбий в веймарском доме Иоганны.

Два господина – Фридрих фон Герстенберг, чрезвычайно малозначительный немецкий писатель, публиковавшийся под псевдонимом Мюллер, и полунищий юноша Йозеф Ганс – ускорили течение этой войны.

Для враждующих сторон каждый из этих господ служил неиссякаемым источником раздражения.

Артур, к примеру, готов был стерпеть все – и расточительство Иоганны, пускавшей деньги по ветру – на пышные приемы друзей-литераторов, и ее пустую салонную болтовню, и ее непомерное самомнение, – но вот этого надутого писателя Мюллера, ее любовника, открыто жившего в доме и оскорблявшего тем самым память покойного отца, Генриха Флориса Шопенгауэра, Артур стерпеть не мог. Иоганна, в свою очередь, тоже готова была снести многое – и мрачную серьезность сына, и его «огорчительные дискуссии», которыми он смущал ее жизнерадостно утонченных гостей, и его «ламентации по поводу глупости мира и человеческого убожества», вызывавшие у нее дурные сновидения, – но вот этого ехидного юношу Ганса, университетского товарища, которого Артур поселил в доме, предложив ему даровое жилье, стол и денежную помощь, Иоганна уже не в силах была выносить. Она не в силах была смотреть на то, как молодые люди, объединившись в какой-то злобно-задорный союз, неутомимо издеваются над бедным Мюллером, над его патриотическими взглядами, над его политической благонравностью, над его образом жизни (писатель постоянно и важно работал – «занимался», требовал почтения и тишины).

В апреле 1814 года Иоганна объявила, что «на будущее время» она отказывает в столовании и Артуру, и его несносному

товарищу. Объявила – письменно, ибо всякое изустное сообщение между матерью и сыном к тому времени уже прекратилось: по дому гуляли – с одной его половины на другую – длинные письма, полные укоров и изощренных колкостей. Артур в ответ на это выдвинул свой ультиматум. Он потребовал, чтобы мать назначила повышенную плату за стол с него, и с Ганса, а заодно решила, с кем ей в «будущем времени» жить – с сыном или с господином Мюллером. Вместо решения мать бросилась защищать Мюллера в нескончаемом послании. Артур поставил на этом послании свою резолюцию, прибегнув к словам Горация: «Turpe putant parere minoribus»[3].

На этом война была закончена. Артур сообщил матери, что решение принимает он – он разрывает с ней все отношения и уезжает в Дрезден.

Невидимая, неявная и, в сущности, главная причина отъезда не имела, конечно же, ничего общего с этими сугубо человеческими событиями. Она была связана с тем, что замыслила в порыве нечеловеческого вдохновения Воля помимо воли одного из ее носителей. Носителю оставалось лишь наблюдать за величественным процессом рождения этого замысла и изумляться. И он наблюдал. И искренне изумлялся в своих дневниковых записях веймарского периода:

> «…В уме моем зарождается сочинение…
>
> …Сочинение растет медленно и зреет постепенно, как младенец в утробе матери: я сам не знаю, что возникло раньше, а что – позднее; в моей голове отчетливо вырисовывается сначала один, потом другой из элементов, входящих в состав сочинения…
>
> …Я, здесь сидящий и будто бы известный моим приятелям, и сам-то отчета себе не отдаю в построении моего сочинения, подобно тому, как матери непонятно зарождение младенца в ее утробе. Я только всматриваюсь в свое творение и, как мать, могу сказать: „Я благословлен плодом“».

Зреющий плод – и это тоже было отмечено наблюдательным существом по имени Артур Шопенгауэр – вдруг взялся производить изменения в душевном строе самого существа.

Как бы готовя философа к дрезденскому периоду, таинственный плод освобождал его от *principium individuationis*[4], которым жива всякая отдельная тварь, будь то жираф или муха. Это было необходимо. Потому что для рождения плода существо должно было превратится в нечто абсолютно объективное, по крайней мере, в своих мыслях и речениях. Оно должно было

превратиться в саму Волю, в говорящую Волю, в бессмертную Волю, которой чужды отдельные смертные мухи и жирафы, так же, как и отдельные смертные гансы, мюллеры, иоганны, артуры… Артур Шопенгауэр за несколько месяцев до начала дрезденского периода уже ясно ощущал в себе эту ошеломляющую отчужденность. «Я уразумел, что людей вокруг меня объединяет *однородность* и наоборот меня от них отталкивает *несродность* им», – покорно отметил он в веймарской записной книжке.

Покорность (внутренняя, не имевшая отношения к внешним событиям) была свойственна ему в это время. Голосу же, наставлявшему его, сопровождавшему процесс превращения его в объективное существо, была свойственна в это время интонация ласковой терпеливости: *«Заруби себе нижеследующее на память, добрая душа…* – Да, именно так, с теплотой, с приветливой строгостью стала обращаться с некоторых пор к Артуру Шопенгауэру, называя его то „доброй душой“, то „любезным другом“, благоволящая к нему Воля, – *заруби себе раз и навсегда, и подумай: люди отнюдь не объективны, а напротив* ***субъективны насквозь…*** *Чтобы из этого правила бывали исключения, т. е. исключения полные, я не допускаю; изредка, однако же, случается, что на людей находят* ***объективные*** *минуты; более высокого совершенства не встречается».*

В Дрездене на Артура Шопенгауэра нашли не то что объективные минуты – на него нашли объективные часы, месяцы, годы. Мировая Воля в его разуме и душе обрела язык. И с мая 1814 года в Дрездене она заговорила так, как она не говорила никогда и нигде – ни в гимнах риши, ни в сочинениях брахманов, ни в темных писаниях гностиков. Именно с этого времени Воля начала формулировать свои суждения о себе с беспримерной обстоятельностью и поистине оракульской категоричностью, явленной уже в самом названии затеянного ею трактата: «Мир как воля и представление».

Конечно, можно легко согласиться с тем мнением, что обстоятельность – это просто свойство той нации, на языке которой взялась выражаться Воля и что, стало быть, нет ничего сверхобычного и уж, тем более, подозрительного в ее речевом поведении. Но справедливости ради надо все же заметить, что на немецком языке ей случалось высказываться и раньше, однако высказывалась она при этом так же, как и всегда; так же, как и на всех других языках, на которых она пыталась изъяснять свое учение о себе. Как именно? В Дрездене она сказала об этом прямо, без всяких недомолвок, с поразительной самокритичностью: *«Намеки на мое учение можно, пожалуй,*

проследить во всех древних и новейших философских системах, не говоря уже, в частности, о Ведах, Платоне, Канте, о живущей материи Бруно, Глиссона и Спинозы и о дремлющих монадах Лейбница. Учение, предлагаемое мною, однако же, там встречается всегда настолько закутанным в разнообразные одеяния, настолько сплетенным с бьющими в глаза нелепостями и настолько облеченным в причудливые формы, что открыть и узнать его можно лишь путем тщательных изысканий и настойчивых догадок».

Что ж, время намеков и причудливых форм для нее навсегда закончилось. Настало время выговориться в полную силу. И она выговаривалась; она говорила; она вдохновенно проповедовала свое учение – внушала его самой себе, ибо других собеседников, объявила она в трактате «Мир как воля и представление», где этот мир она назвала всецело своим миром, у нее нет – нет Бога, нет дьявола, нет никаких отдельных существ, нет рождения, нет смерти, нет начала и конца – есть только она, говорящая наедине с собою с предельной ясностью… Гёте был, кажется, первым, кто обратил внимание на эту завораживающую ясность изложения. Сестре Шопенгауэра, Адели, Гёте об этой ясности только и твердил. И Адель, дружившая с падчерицей Гёте Оттилией фон Погвиш и пользовавшаяся неизменной симпатией самого поэта, часто бывавшая у него в доме, с радостью сообщала брату, что Гёте не выпускает из рук трактат «Мир как воля и представление», зачитывается им и все повторяет: какая ясность изложения! какое построение сочинения! какая манера писать!.. Но говорит ли о смысле написанного? Нет, не говорит. Потому что смысл того, о чем на протяжении тысячелетий высказывалась Воля, представлялся, быть может, поэтам более ясным тогда, когда он был «закутан в разнообразные одеяния» и «облечен в причудливые формы». Более естественной, более здоровой представлялась, быть может, ее прежняя манера изъяснения, вполне соответствующая форме внутреннего монолога, которой чужды ясность и обстоятельность, способные выступать самыми верными и самыми неуловимыми признаками безумия в том случае, если в ясности и обстоятельности никто, кроме говорящего, не нуждается.

Да, что-то неуловимо ненормальное происходило в те четыре года, когда в Дрездене Мировая Воля проясняла свое учение о Мировой Воле. И это чувствовали не только поэты. По-своему это чувствовали и люди иного, более практического, склада ума. Правда, ненормальность происходившего была для них вполне уловимой, поскольку улавливали они ее там, где улавливать ее им было сподручнее. Доктор Зейдлиц, если уж речь здесь зашла о

первенстве, был первым, кто заговорил в связи с трактатом «Мир как воля и представление» об «обострившемся патологическом процессе мысли». Чьей мысли? Разумеется, Шопенгауэра. Исключительно о Шопенгауэре толковал, увы, доктор Зейдлиц в своей книге *Arthur Schopenhauer von medizinischen Standpunkt aus betrachtet*[5], опубликованной в Дерпте в 1872 году, – исключительно личность философа подразумевал он, утверждая, что возникновением трактата мы обязаны душевной болезни – мании величия, – которая, по наблюдениям Зейдлица, достигла во время дрезденского периода *stadium incrementi*[6]. Достигла, все так. Но только к Шопенгауэру это не имело ни малейшего отношения.

И если он все ж таки заставил рассматривать *von medizinischen Standpunkt* именно собственную личность, отведя тем самым подозрительные взгляды от своей Госпожи, которой он верно служил четыре года, пропуская через себя процесс ее мысли, то это свидетельствует лишь об одном – о проявлении высшего благородства философа по отношению к своей больной Госпоже.

Впрочем, на старости лет Шопенгауэр уже не желал проявлять этого благородства. Словно предчувствуя, что после его смерти доктора медицины слишком уж рьяно возьмутся отыскивать «истинные» причины возникновения дрезденского трактата и в этих узко специальных поисках, направленных на его личность, распоясаются не на шутку, – словно предвидя, какие диагнозы («анормальная иннервация», «ненормальное функционирование психики», «мания величия», «липемания» и т. д. и т. п.) будут свалены на его голову и доктором Зейдлицом, и доктором Мёбиусом, и совсем уж глумливым доктором Ломброзо, Шопенгауэр старался свою личность от медицинских взглядов спрятать. Он настойчиво повторял, что «Мир как воля и представление» писался помимо *его* воли и без участия *его* сознания. То есть он старался говорить правду. В старости, утверждают его первые, наиболее осведомленные биографы, он действительно смотрел на эту книгу с недоумением – как на чужое произведение.

Но как бы то ни было, на протяжении дрезденского периода Шопенгауэр оставался верным слугой своей Госпожи. Тогда она была ему далеко не чужой. Тогда он даже не отделял (не в состоянии был отделять) себя от нее. Он был не то чтобы не в себе – он целиком был в ней. И все, что происходило с Шопенгауэром в Дрездене, происходило на самом деле с ней. Это она посещала сумасшедшие дома. Она вглядывалась в глаза какого-то душевнобольного мальчика, чтобы получше понять, в чем состоит сущность *человеческого* безумия, а мальчик тем

временем рассматривал висевшее на шее у человеческого существа по имени Артур Шопенгауэр «стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимавшихся за ними деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, – *он не понимал непосредственной причинности отражения*», – делала свои выводы Воля. И называла это детское непонимание *«величайшим примером глупости»* тоже она. И, конечно же, ей и только ей принадлежали знаменитые своей странностью слова, которые прозвучали однажды из уст Шопенгауэра в Королевских оранжереях Дрездена.

Это было в самом начале дрезденского периода. Шопенгауэр прогуливался в оранжереях. Он прогуливался там среди диковинных растений. Вдруг остановился и стал очень резко и выразительно жестикулировать – так, как будто бы он сопровождал жестами какой-то чрезвычайно бурный, но беззвучный разговор, неожиданно завязавшийся между ним и… Бог его знает кем – рядом с ним никого не было. Где-то поодаль стоял только смотритель Королевских оранжерей и с изумлением наблюдал эту необъяснимую сцену. Когда же смотритель, подойдя к жестикулирующему человеку, поинтересовался у него, кто он такой, ответом ему и были эти слова: *«Если бы вы мне могли сказать, кто – я, то я бы счел себя за это весьма вам обязанным».*

К концу дрезденского периода, когда Мировая Воля выяснила, кто она такая, когда она достигла, говоря ее словами, *«полного самосознания, ясного и исчерпывающего знания своей собственной сущности»*, доведя в трактате «Мир как воля и представление» до высшего совершенства, до абсолютной внятности свою речь, обращенную к самой себе, человек, при помощи которого осуществилось это *«единственное событие в себе»*, – этот акт *«познания, направленного волей на самое себя»*, был освобожден от того драматического состояния объективности, в котором он невольно пребывал четыре года, был возвращен самому себе.

Прежняя, человеческая, здоровая субъективность мало-помалу обрела в нем силу. И все же нечто объективное, нечто унаследованное им от своей Госпожи навсегда осталось в Шопенгауэре.

Всем, кому доводилось встречаться с ним во Франкфурте-на-Майне, где он в полном одиночестве провел три последние десятилетия своей жизни, предаваясь чтению книг, играя на флейте, гуляя с пуделем да изредка появляясь в ресторации отеля «Английский двор», бросалась в глаза его странная склонность

разговаривать с самим собою, вести с самим собою обстоятельную беседу, сопровождаемую выразительными жестами. Но даже тогда, когда Шопенгауэру случалось говорить с людьми, его не покидало чувство, что он разговаривает наедине с собою. «Подчас я говорю с людьми, точно дитя с куклой: ребенок хотя и знает, что кукла его не понимает, тем не менее, путем приятного, заведомого самообмана доставляет себе удовольствие болтовни», – замечал Шопенгауэр.

До конца своих дней – до 21 сентября 1860 года – он продолжал испытывать то, что приучила его испытывать в Дрездене Мировая Воля, говорящая, но не имеющая никаких собеседников в своем мире, где она обречена вечно царствовать и вечно обращаться к себе с ясными речами в безмерном и безбожном одиночестве. Однако и после 21 сентября 1860 года для Шопенгауэра не многое изменилось. Просто перестало быть «нечто такое, чему не следует быть», исчезло нечто такое, что имеет предрасположенность быть «субъективным насквозь». Иными словами, самовольное «существование в качестве *я*» для Шопенгауэра с этого дня вновь прекратилось – с этого дня вновь для него начался дрезденский период.

Время окончания периода неизвестно.

Подвиг Катулла

Ядовитейший римский поэт Гай Валерий Катулл оградил от забвения множество безвестных имен. Шлюха Амеана, *puella defututa* («изъебанная девка»), требовавшая за свои услуги фантастические суммы, мальчик Ювенций, ходивший по рукам любострастников, гетера Постумия, правившая на пирах и оргиях, вороватый Талл, изнеживший в банях свое тело до мягкости *pene languido senis* («дряблого стариковского уда»), поэт Волюзий, написавший *cacata carta* («сраное сочинение»), пересмешник Эгнатий, чистивший зубы мочой, – все они должны были исчезнуть без следа. Катулл поселил их в вечности.

За сотни лет до своей всемирной славы, которой могло бы и не случиться, если бы в 1300 году в библиотеке одного из монастырей Вероны не обнаружилась нечаянно латинская рукопись под заглавием *Catulli Veronensis Liber* («Книга Катулла Веронского»), пролежавшая там без внимания около тысячи лет, он предрекал известность всякому, кого коснутся его *truces iambos*[7]:

> Что за вздорная мысль, ничтожный Равид,
> гонит тебя в пропасть моих ямбов?
> Что за бог – тебе плохой советчик —
> на шальной раздор со мной толкает?
> Хочешь ты стать притчей во языцех?
> Славным жаждешь быть любой ценою?
> Будешь! Удостоишься навеки этой кары,
> коль мою любовь любить ты вздумал[8].

Катулл не ошибся: *truces iambos* сделали известным некоего Равида. И хотя эта известность ограничивается строгой формулой комментаторов: *«лицо, ближе неизвестное»*, Равид не забыт, как и десятки других обитателей Рима времен заката Республики, которых Катулл озарил светом своей славы. Без Катулла эти имена – Аврелий, Фурий, Аллий, Порк, Эмилий, Квинтия, Ипсифилла – ничего не значат. Но есть среди них имя, без которого и сам Катулл, знаменитый неуемной желчностью и припадками яростного сквернословия, должен был бы представляться потомку, свободному от научного интереса к поэтическим опытам неотериков, злобным, крикливым юродом, потешающим Рим. Это имя – Лесбия. Это – любовь Катулла. Это то, что и сделало его великим Катуллом – ядовитым и нежным

одновременно.

Историю любви Катулла и Лесбии уже сотни лет вдохновенно реконструируют филологи и поэты. Извлеченная из его стихов, дополненная множеством косвенных сведений и общих соображений, история, тем не менее, остается самым загадочным фрагментом его биографии, которая известна именно фрагментами и главным образом по книге самого Катулла.

Точная дата его рождения не установлена. Согласно христианской Хронике iv века, приписываемой Иерониму Блаженному, он родился в 87 году до Р. Х. Однако хронологические расчеты современных исследователей дают более позднюю дату – 84 год до Р. Х. Его родина – Верона, север Италии, долина реки Пад (ныне По).

Для Рима тогда это была одна из далеких и презренных провинций – *Gallia Cisalpina* – Предальпийская Галлия. Неясно, имел ли отец Катулла римское гражданство. Жители Предальпийской Галлии к этому времени едва успели получить гражданство латинское, отличавшееся от римского существенными ограничениями. Лишь немногие – те, кто занимал должностные посты в своей общине, имели доступ к полному римскому гражданству. Отец Катулла, полагают, мог принадлежать к этим избранным, потому что, во-первых, дружил с Юлием Цезарем, а во-вторых, был богат и знатен. О том, что Цезарь поддерживал с отцом Катулла дружеские отношения, сообщает Гай Светоний в своей знаменитой «Жизни двенадцати Цезарей». Однако это сообщение требует некоторых важных для нас уточнений. В 80-х -70-х годах Цезарь был еще малоизвестным политиком, который жил под постоянной угрозой опалы и судебных преследований. Если отец Катулла дружил с *этим* Цезарем, то для него это ровным счетом ничего не значило, кроме того, что и на мирного веронца могла распространяться часть той опасности, которой была наполнена жизнь римского друга в кровавые времена диктатора Суллы и жестокой смуты, последовавшей за его кончиной. Но и Цезарь 60-х годов, когда карьера его начала бурно развиваться, был еще вовсе не тем Цезарем, дружба с которым могла возвысить далекого провинциала, ибо римский друг и сам на каждом шагу чудом избегал падений, ускользая то от могущественных обвинителей, то от обнаженных мечей родовитой толпы, встречавшей его при выходе из Сената. Лишь много позже, когда Цезарь стал пожизненным консулом, пожизненным диктатором, вечным императором и «отцом отечества», он мог даровать римское гражданство не только отдельному жителю Вероны, но и всему населению Предальпийской Галлии в целом, что он и сделал в

средине 40-х годов. Но время это уже не связано с Катуллом.

Что же касается знатности отца, предположительно открывавшей ему доступ к магистраторской должности, которая одна и превращала уроженца Предальпийской Галлии в римского гражданина, то о знатности не существует никаких сведений, как и о том, что отец Катулла когда-либо был магистратом в Вероне. О богатстве же установлено – по стихам Катулла – только одно: недалеко от Вероны на южном берегу Бенакского озера (ныне оз. Гарда) у отца была вилла, стоявшая на мысе Сирмион. Возможно, именно там Катулл и вырос. Впрочем, о его детстве ничего неизвестно, кроме того, что в раннем возрасте, еще до совершеннолетия, он пережил сильное потрясение – кончину горячо любимого брата, погибшего при неизвестных обстоятельствах в поездке на Восток, в Троаду, где он и был похоронен. Много лет спустя, очутившись в тех краях и разыскав там вблизи древней Трои драгоценную могилу, Катулл проливал над ней, как он выразился в своей скорбной элегии, «обильные потоки нескончаемых слез».

Итак, если опираться на факты, пусть малочисленные, но установленные, Катулл ко времени его приезда в Рим и встречи с Лесбией был безвестным провинциалом, не обладающим ни родовитостью, ни богатством, ни римским гражданством. Всё его достояние составляли лишь несколько юношеских стихов, известных Корнелию Непоту, который тоже был родом из Предальпийской Галлии, но в Риме уже успел прославиться историческими трудами. Ему Катулл впоследствии и преподнес свою книгу, не забыв упомянуть в посвящении, что Непот еще тогда имел обыкновение *aliquid putare* («во что-то ставить») его *nugas* («безделки»), когда сочинял свои знаменитые Хроники в трех томах – то есть приблизительно в 60 году до Р. Х. Этот год и принято считать годом приезда Катулла в Рим.

Разумеется, прозорливый Непот, а вместе с ним и другие выходцы из Предальпийской Галлии – поэт Гельвий Цинна и оратор Лициний Кальв, не просто «во что-то», а очень высоко ставили Катулла. В Риме они вскоре сделались его близкими друзьями. Но на спесивый взгляд потомственных римских аристократов безродный веронец, наделенный второсортным латинским гражданством, «правом Лациума», как оно называлось, должен был выглядеть персоной если не ничтожной, то вполне незначительной, пригодной лишь на то, чтобы пополнить в качестве клиента пеструю свиту именитого патрона.

Такой персоной он, вероятно, и представлялся Квинту Метеллу Целеру, сенатору, происходившему из знатного римского рода и избранному в 60 году консулом. По приезде в

Рим Катулл очутился в его свите. Это, конечно, не было чистой случайностью. Совсем недавно, в 62–61 годах, Метелл занимал должность наместника Предальпийской Галлии, и для Катулла как выходца из этой провинции было естественно искать у него покровительства в Риме. Хотя не менее, а может быть, даже и более естественно было бы попытать счастья в свите отцовского товарища, который добился консульства на следующий, 59 год. Но Катулл почему-то этого делать не стал. Мало того, он принялся поносить Цезаря с неудержимым, кривляющимся ехидством в стихах столь же отточенных, сколь и непристойных. Без всякой объяснимой причины – комментаторы только разводят руками – он поначалу вдруг сделал персонажем своих глумливых инвектив цезарианского офицера по имени Мамурра, по должности *praefectus fabrum* (начальник саперного отряда). Катулл пожаловал ему в стихах другую «должность» – *mentula*, – выражение столь впечатляющее, что академический переводчик Адриан Пиотровский демонстративно оставлял его без перевода в русской транскрипции, не желая пополнять застенчивые большевистские издания вялыми эвфемизмами, вроде «хлыща» и «хрена», которые передают лишь начальную букву, но не энергию охального слова. Упиваясь собственным неистовством, Катулл поносил всё и вся, что было связано с этим *Мамуррой-ментулой* родом из города Формии – его блуд, его стишки, его богатства, нажитые на должности не блистательной, но вполне воровской (саперный отряд занимался строительными работами и доставкой провизии), его подружку Амеану, ту самую, за которой последовало в бессмертие выражение *puella defututa*, – и в какой-то момент, то ли под воздействием нервного задора, входившего в состав его вдохновения, то ли в силу особого поворота поэтической мысли, он связал с ним и Цезаря:

> Славно снюхались два гнусных педераста,
> два распутника – Цезарь и Мамурра.
> И не диво: оба ходят в скверне —
> этот в римской, тот в формийской, – крепко
> въелась в них она, ничем ее не смоешь.
> Близнецы они – одной страдают хворью;
> спят в одной кроватке; оба грамотеи.
> И не скажешь, кто из них блудливей, —
> девкам римским оба конкуренты!
> Славно снюхались два гнусных педераста[9].

На Цезаря это произвело убийственное впечатление. *Praefectus fabrum* Мамурра, сколько бы он ни наворовал, находясь

при легионах Цезаря сначала во время его испанского наместничества в 61 году, а затем и в галльских походах, был, конечно, фигурой несопоставимой с полководцем. Цезарь даже ни разу не упоминает этого соратника в «Записках о Галльской войне». Очутиться в «злых ямбах» Катулла рядом с ничтожным сапером было для него, пожалуй, двойной обидой, такой обидой, что ее выражение – несомненно публичное – дошло через 180 лет до Светония. «Валерий Катулл, по собственному признанию Цезаря, – сообщает он, – заклеймил его вечным клеймом в своих стишках о Мамурре, но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения». Да, извинился, явился на обед. Но после этого еще более утонченно издевался над Цезарем, то выказывая к нему презрительное равнодушие – «Знать не хочу я совсем, черен ты или бел», – то рисуя его соратников не черными и не белыми красками, а чистым ядом:

> Голова у Отона с черепочек;
> Ляжки моет Герий, но по-мужицки;
> Воздух портит Либон при всех неслышно, —
> Ты и сам бы от них отворотился,
> И Суфиций, в котле варенный дважды,
> Будешь вновь на мои сердиться ямбы
> Недостойные, первый полководец?[10]

В свите сенатора Метелла Катулл оставался недолго. В 59 году покровитель неожиданно скончался, отравленный, по убеждению современников, собственной женой. Считается, что именно с этого времени началась история любви Катулла и Лесбии.

Обстоятельства могли бы сложиться так, что исследователи никогда бы не установили, кем была героиня этой истории. По стихам Катулла, где в образе Лесбии сосредоточены одновременно вся волшебная красота небесных богинь и всё буйное блядство кабаков и переулков Рима, ее можно было бы представлять кем угодно – потаскушкой с улицы Субура, какой-нибудь вольноотпущенницей, римской гетерой или некоей *лесбосской девушкой,* то есть *жительницей острова Лесбос* – таков точный смысл псевдонима *Lesbia*, который Катулл дал возлюбленной. Псевдоним остался бы нераскрытым, если бы не цепь случайностей. Два века спустя после смерти Катулла ритор Апулей, автор знаменитого «Золотого Осла», нечаянно захворал по дороге в Александрию. Болезнь заставила его остановиться в Эе, одном из городов Проконсульской Африки. Там он

неожиданно для себя женился на богатой вдове по имени Пудентилла, соблазнившись мыслью о семейном покое. Женитьба обернулась для него судебным процессом: родственники Пудентиллы обвинили его в развратном поведении и магических действиях – он будто бы околдовал вдову, которая много лет упорно отказывала всем, кто к ней сватался. Обвинение грозило Апулею смертной казнью, и потому он – на радость грядущим исследователям – подготовился к процессу, происходившему в городе Сабрате под председательством проконсула Африки, с чрезвычайной обстоятельностью – написал обширную речь в свою защиту – «Апологию». В одном из ее пунктов он процитировал свои любовные стихи, служившие на суде доказательством его «крайней разнузданности» (в них воспевались два мальчика), и, обращаясь к проконсулу Клавдию Максиму, сказал:

> «Вот тебе, Максим, мое преступление, составленное из одних гирлянд и песен. Ну прямо – закоренелый прожигатель жизни, не так ли? Ты обратил внимание, как меня порицали здесь даже за то, что хоть у мальчиков другие имена, я назвал их Харином и Критием? Да, но ведь в таком случае можно было бы обвинить и Гая Катулла, за то, что он Клодию назвал Лесбией…»

Так открылось ее настоящее имя. Клодия.

Она принадлежала к древнейшему патрицианскому роду Клавдиев, который со времен Республики в каждом поколении давал Риму консулов, диктаторов и цензоров. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которая, по преданию, силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святынями богини Кибелы, и не менее легендарный консул Аппий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем, и дорога от Рима до Капуи – знаменитая Аппиева дорога. Вся родня Клодии была на виду и в те времена, о которых идет речь. Ее отец занимал должность консула в 79 году. Брат Публий Клодий в годы жизни Катулла в Риме стал народным трибуном, которого плебеи провозгласили своим вождем. Старшая сестра была замужем за консулом 68 года Квинтом Марцием Рексом, младшая – за полководцем Лукуллом, сводная – за Помпеем Великим. Сама же Клодия была женой Метелла – того знатного сенатора, в свиту которого судьба привела безродного веронца, чтобы он мог увидеть вблизи ослепительное божество:

> Тот с богами, кажется мне, стал равен,

Тот богов превыше, коль то возможно,
Кто сидит напротив тебя и часто
Видит и слышит,
Как смеешься сладко, – а я, несчастный,
Всех лишаюсь чувств оттого, что тотчас,
Лесбия, едва лишь тебя увижу, —
Голос теряю,
Мой язык немеет, по членам беглый
Заструился пламень, в ушах заглохших
Звон стоит и шум, и глаза двойною
Ночью затмились[11].

Но это далеко не все, что стало известно о воспетой Катуллом Лесбии, благодаря тому, что ритор Апулей однажды вымолвил ее настоящее имя.

Не одна только «Книга Катулла Веронского» увековечила ее образ. Под собственным именем она выступает персонажем и другого уцелевшего произведения – «Речи в защиту Марка Целия» (*Pro M. Caelio oratio*), написанной Цицероном и произнесенной им 4 апреля 56 года до Р. Х. перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина.

Клодия участвовала в этом процессе. Более того, именно она тайно направляла все действия обвинителей (в их числе был и ее брат Публий), которые привлекли к суду юного оратора Марка Целия – ее любовника и близкого друга Катулла. Целию среди прочего вменялась в вину попытка отравить Клодию при помощи ее же золота, которое он будто бы использовал для приобретения яда и подкупа рабов-исполнителей. Образ Клодии, нарисованный в этой речи, лишен той восхитительной двойственности, какую ему сообщает поэзия Катулла.

Не выказывая ни малейшего признака божественности, Клодия у Цицерона предстает родовитейшей римской шлюхой, оскверняющей своим необузданным развратом священную память великих предков, в особенности же легендарной весталки и доблестного Аппия Слепого, от лица которого Цицерон – как бы вызвав на суд его дух из царства мертвых – возглашал, обращаясь к Клодии:

«Для того ли расстроил я заключение мира с Пирром, чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?»

Цицерон ничего не упустил в пылу изобретательного красноречия. Он позаботился, чтобы претор Гней Домиций узнал Клодию как можно ближе. Он рассказал суду о ее поездках в Байи – курортный городок близ Неаполя, который со времен поздней Республики был одинаково знаменит на всю Италию целебными источниками, морскими купаниями, роскошными термами и привольным блудом, царившим там повсеместно. «Уверяю вас, – вещал Цицерон, – Байи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие поступки, с удовольствием выставляет себя напоказ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете». Он обрисовал ее дом, «где мать семейства ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности». Он дал понять, что само обвинение, исходящее из этого дома – «из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного», – есть лишь открытая демонстрация свирепой похоти «безрассудной, наглой, обозлившейся женщины». Обозлившейся, разумеется, на Марка Целия, который в какой-то момент вдруг решил разорвать с ней любовную связь. И наконец, Цицерон поведал суду о том, чего «нельзя выносить наружу» и что хорошо было известно его подзащитному, проводившему в «преступном доме» не только дни, но и ночи. По ночам Клодия совокуплялась со своим младшим братом, народным трибуном Публием Клодием. Возможно, именно это и послужило для Целия причиной разрыва с неверной любовницей, которая *cum suo coniuge et fratre*[12], как Цицерон называет Публия, разыгрывала перед ним изощренный спектакль: их кровосмесительное супружество Цицерон описывает (вероятно, со слов Целия) как отвратительную симуляцию болезненно-нежной братской любви. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобою вежливо, – обращается он к Клодии, – я так и заговорю: удалю этого сурового старика (*то есть Аппия Слепого, от имени которого Цицерон высказывался до этого момента*); итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата, который в своем роде самый изящный; уж очень он любит тебя; по какой-то странной робости и, может быть, из-за пустых ночных страхов он всегда ложился спать с тобою вместе, как малыш со старшей сестрой».

Вежливо Цицерон, конечно, не заговорил с ней. Он продолжал называть ее на протяжении всей речи, произносившейся на Форуме перед собранием почтенных мужей,

свидетелей и народа, «распутницей», «развратницей», «преступнейшей женщиной».

Клодия была уничтожена.

После этого процесса, на котором Целий был оправдан по всем пунктам обвинения, она исчезла с горизонта римской жизни. В дальнейшем никаких сведений о ней не появляется в древних источниках. Предполагают даже, что удар для нее был столь сильным, что она вскоре умерла.

Но было ли это безжалостное обличение Лесбии ударом для Катулла? Ему, несомненно, были знакомы все обстоятельства судебного процесса против его близкого друга и сама «Речь в защиту Целия», обернувшаяся катастрофой для его божества. Комментаторы до сих пор не могут сойтись во мнении, какое чувство он выразил в стихотворении, обращенном к Цицерону:

> О Марк Туллий! О ты, речистый самый
> Из праправнуков Ромула на свете
> В настоящем, прошедшем и грядущем!
> Благодарность тебе с поклоном низким
> Шлет Катулл, наихудший из поэтов.
> Столь же самый плохой из всех поэтов,
> Сколь ты лучше всех прочих адвокатов![13]

Было ли это стихотворение нечаянным откликом уязвленного сердца на обдуманную и тонко выстроенную казнь возлюбленной? Или, может быть, оно вообще не имело никакого отношения к апрельскому процессу 56 года, а было всего лишь ироническим ответом, «вызванным нападками Цицерона на новое литературное течение, к которому примыкал Катулл», как трактуют некоторые комментаторы, не учитывая, впрочем, того обстоятельства, что Катулл уже примыкал к Небесам в то время, когда Цицерон сформулировал в «Тускуланских беседах», «Ораторе» и «Письмах к Аттику» свое неудовольствие поэзией неотериков, то есть новых стихотворцев, как он их называл. Но если речь здесь все же идет о Лесбии, то что содержат в себе эти строки – одно лишь злобное ёрничество? Обиду? Или в них действительно выразилась горестная благодарность Цицерону, к которому Катулл «мог хорошо относиться за его речь „За Целия“ против изменницы Клодии», как толкуют другие комментаторы.

Ответ на эти вопросы можно найти лишь вместе с ответом на главный вопрос. Кем была Лесбия для Катулла? В самом ли деле она когда-нибудь была его любовницей?

О да, конечно, он знал о ней многое! В том числе и все то, что говорилось на суде. Это о ней и ее брате – об их

кровосмесительной связи – он писал, называя Публия Клодия Лесбием, с такой мстительной желчностью:

> Лесбий красавец, нет слов! И Лесбию он привлекает
> Больше, чем ты, о Катулл, даже со всею родней.
> Пусть он, однако, продаст, красавец, Катулла с роднею,
> Если найдет хоть троих поцеловать его в рот[14].

Это ее, Лесбию, он так жадно разыскивал по «разнузданным кабакам» и находил ее там в родовитой «кабацкой своре» на коленях «паршивых кобелей», которые тешились с ней «все до одного», похваляясь своими *ментулами*, – Катулл же в припадке вдохновенного бешенства отвечал им буйными поношениями:

> с чего бы это только лишь у вас члены?
> и только вам дозволено всех малышек
> перепереть, козлами посчитав прочих?
> Ужели, если сотня или две сселось,
> неостроумных, вместе вас, – мне две сотни
> не отмужичить в одиночку сидящих?
> Нет, – лучше я и вдоль и поперек стены
> кабацкие снаружи испишу бранью![15]

Это о ее поцелуях он писал с такой воспаленной страстью, мечтая, чтобы Лесбия подарила ему их столько же, «сколько лежит песков сыпучих/ Под Киреною, сильфием поросшей,/ От Юпитеровой святыни знойной/ До гробницы, где Батт схоронен древний». Это на смерть ее ручного воробушка он слагал пародийно величественные эпитафии, поражавшие потом своей нежностью Марциала. Для ее забавы бросал в огонь «„Лет“ Волюзия сраные страницы». Во славу ее красоты глумился над признанными красавицами Рима, среди которых была и любовница Мамурры Амеана, не избежавшая его злобно-юродских приветствий:

> Добрый день, долгоносая девчонка,
> Колченогая с хрипотою в глотке,
> Большерукая, с глазом, как у жабы,
> С деревенским, нескладным разговором,
> Казнокрада формийского подружка!
> И тебя-то расславили красивой?
> И тебя с нашей Лесбией сравнили?
> О, бессмысленный век и бестолковый![16]

В истории этой любви было все – и безмятежно-счастливое начало, и яростная ревность, и уличения в неверности, и жестокие размолвки, и проклятия, и клятвы, и слезы, и радостные примирения. Был и окончательный разрыв. Его соотносят с самым горестным стихотворением из посвященного Лесбии цикла, который беспорядочно рассеян по «Книге Катулла Веронского», произвольно составленной из 116 произведений поэта каким-то неизвестным его земляком во времена поздней античности. По этому – 11-му – стихотворению, в котором явственно проступает дата его написания, устанавливаются хронологические рамки любовного романа, завершившегося катастрофой:

Фурий, ты готов и Аврелий тоже
Провожать Катулла, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий.
Иль в страну гиркан и арабов пышных,
К сакам и парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустый мутью
Хляби пятнает.
Перейду ли Альп ледяные кручи,
Где поставил знак знаменитый Цезарь,
Галльский Рейн увижу иль дальних бриттов
Страшное море —
Все, что рок пошлет, пережить со мною
Вы готовы. Что ж, передайте милой
На прощанье слов от меня немного,
Злых и последних.
Со своими пусть кобелями дружит!
По три сотни их обнимает сразу,
Никого душой не любя, но печень
Каждому руша.
Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый насмерть[17].

Стихотворение было написано не ранее 55 года до Р. Х., когда Цезарь с огромным войском совершил первый переход через Альпы. Именно это событие упомянуто в третьей строфе: *sive trans altas gradietur Alpes,/ Caesaris visens monumenta magni*.

Из этого следует, что «злые и последние слова» были сказаны

поэтом уже после судебного процесса 56 года. Однако по общему убеждению исследователей Клодия уже не могла быть в это время любовницей Катулла, ибо процесс круто изменил ее судьбу, если не поставил в ней финальную точку. Да и сам Катулл, страдавший, как явствует из некоторых его стихов, чахоткой, был тогда на пороге смерти, последовавшей предположительно в 54 году до Р. Х.

Но когда, в таком случае, в какой период его римской жизни возник, развился, прошел через множество темных и светлых стадий и завершился мрачным разрывом этот любовный роман, который вобрал в себя всю гамму переменчивых чувств любовников и выразился в стихах Катулла, как признают филологи, с еще невиданной для античной поэзии полнотою?

Могла ли Клодия стать любовницей поэта в тот же год, когда он переехал из Вероны в Рим? По мнению одного из самых авторитетных исследователей древнеримской литературы Михаила Гаспарова, чьи комментарии и статья сопровождают русское академическое издание «Книги Катулла Веронского», это маловероятно. «До 59 г. Клодия была замужем и заведомо вела себя более сдержанно», отмечает он. К этому нужно добавить, что сенатор Метелл и римский закон, сурово карявший за супружескую неверность, должны были сдерживать не только Клодию, но и Катулла – приезжего веронца, латинского гражданина, человека из свиты, которого всесильный патрон мог просто стереть с лица земли при малейшем намеке на любовную связь со своей супругой. Во всяком случае, при жизни Метелла Клодия едва ли могла стать той Клодией, которая дарила Катуллу неисчислимые поцелуи и которую пускали в кабаках по кругу *semitarii moechi* («закоулочные кобели»).

Но можно ли предположить, что Клодия потому и отравила мужа, что у нее завязались какие-то тайные отношения с Катуллом, которого она впоследствии, освободившись от брачных уз, открыто сделала своим любовником? Предположение заслуживало бы внимания, если бы не было известно, что после кончины Метелла любовником Клодии стал Целий. Ради него она и в самом деле могла решиться на преступление. Богатый, чрезвычайно дерзкий, обворожительно красивый (даже один из его обвинителей, Атратин, называет его «красавчиком Ясоном»), Целий был потомственным римским всадником. Его карьера была на взлете. Как раз в это время он приобрел скандальную известность, ворвавшись в римскую политику благодаря громкому делу консула 63 года Гая Антония, которого он привлек к суду за вымогательство и выиграл этот процесс у самого Цицерона, своего учителя, выступавшего защитником. В Риме уже

боялись не только остроумных и виртуозных речей Марка Целия, но и его свирепых выходок. Этот неукротимый splendidus[18] мог позволить себе всё – ударить сенатора на выборах верховного понтифика, избить послов Александрии, в том числе и их главу, философа Диона, затеять с неизвестной целью, – быть может, только ради куража, – мятеж в Неаполе, подкупить своих избирателей на выборах в квесторы. Словом, это был не созерцатель жизни, а ее безоглядный герой. Нет ничего удивительного, что своим героем его избрала и Клодия, жадная ко всем проявлениям жизни. Целий поселился с ней в одном доме на Палатинском холме, арендовав помещения у ее брата Публия, которому он платил за них очень щедро – по 10 000 сестерциев в месяц. Мы не будем утверждать, что Целий мог участвовать вместе с Клодией в отравлении ее мужа, доводившегося ей, между прочим, двоюродным братом (кровосмесительство было у нее в крови). Скажем только, что по какой-то причине Клодия страшилась именно яда, когда дело дошло до развязки ее романа с Целием. Развязка же, как нам известно, была и без яда драматической. По ней можно судить, какие сильные страсти бушевали в сердцах героев до тех пор, пока на Форуме перед судьями не вырвалось наружу всё, что их мучило и возбуждало – коварство, подозрения, сожительство с братом, развеселые Байи… Они были любовниками с 59 по 57 год.

Роман Катулла, столь же страстный и полнокровный, можно было бы поместить в тот промежуток, когда Целий и Клодия, разорвав отношения, готовились к судебному процессу. Однако доподлинно известно, что как раз в это время Катулла не было в Риме. В 57 году он уехал на Восток, в Вифинию, с претором Гаем Меммием, в свиту которого перешел после смерти Метелла. Он надеялся разбогатеть в этой поездке щедростью нового патрона, а заодно разыскать близ Трои могилу брата. Последнее, как мы знаем, ему удалось, первое – нет. Разочарованный, он вернулся в Италию лишь в 56 году, и притом вернулся не в Рим, а в свою родную Верону. Не исключено, что в том же году он снова приехал в столицу. Но это уже – год процесса Целия. Круг замыкается. И, кажется, в этом круге нет места для знаменитой любовной истории Катулла и Лесбии. Хотя место исследователи ищут уже давно и старательно.

Гаспаров, например, признает, что стихи о Лесбии датируются по большей части 57–55 годами, когда она не могла быть любовницей поэта. «Стало быть, ее роман с Катуллом, – пишет он, – лишь краткая промежуточная или попутная интрижка довольно раннего времени, а стихи о ней Катулла (по крайней мере, некоторые) – произведения очень поздние».

Этот непостижимый хронологический сдвиг побудил ученого выдвинуть гипотезу, которая тоже содержит элемент непостижимости. «Обязаны ли мы представлять себе любовные стихи Катулла, – размышляет он, – мгновенными откликами на события его отношений с Лесбией? Нельзя ли представить, что многие из них были написаны позже, по воспоминаниям, ретроспективно?» Гаспаров при этом ссылается на феномен Афанасия Фета, который «лучшие свои стихи о молодой любви написал в старости, по воспоминаниям, ретроспективно». Даже ничего не зная о поздней любовной лирике Фета, можно легко согласиться с тем, что старик, у которого давно уже затянулись в душе мучительные и сладостные язвы «молодой любви» и который силой обострившейся памяти переносится в далекое прошлое, к «былому счастью и печали», – образ вполне реальный. Но вот молодой человек, который вскоре после крушения любовных чувств и надежд воспроизводит с невозмутимостью шарманщика не спетые в срок нежные песни сердца, предназначенные для той, что совсем недавно сердце ему и надорвала, заслужив его яростные проклятия, – образ почти фантастический. К тому же здесь подразумевается, что любовная история Катулла и Лесбии возникла в первые годы его жизни в Риме. Но помимо высказанных выше соображений есть одно очень важное свидетельство, которое делает эту версию сомнительной. Оно содержится в стихах самого Катулла – в его пространной элегии под номером 68, посвященной некоему Аллию. Из нее явствует, что в «раннее время» у Катулла была совсем другая любовь – *candida diva*[19], как он ее называет. Она была женою Аллия, в доме которого Катулл поселился, переехав из Вероны в Рим. Поэт вспоминает об этой поре с восторгом. «Богиню» они делили с Аллием на двоих, это была их *communis amor*[20]. Катулл был безмерно благодарен другу:

> Аллий бывал для меня, – верный помощник в беде.
> Поприще он широко мне открыл, недоступное прежде.
> Он предоставил мне дом и даровал госпожу,
> Чтобы мы вольно могли там общей любви предаваться[21].

Этот тройственный союз был столь самодостаточным и счастливым для всех участников, что Аллий спустя годы слал Катуллу в Верону письма, упрашивая его вернуться к их прежней совместной жизни. И речь он при этом вел не только о «дарах Венеры», но и о «дарах Муз», из чего следует, что кроме телесных наслаждений любовников связывали еще утонченные, не

лишенные поэтического начала чувства. Не случайно Катулл посвятил этой любви одно из самых крупных своих произведений, над которым комментаторы до сих пор ломают головы, задаваясь самыми отчаянными вопросами, например – а могла ли *candida diva* быть Лесбией? Нет, не могла. Катулл, говоря об Аллии и той, с которой они в его доме «знали утехи любви», прямо называет ее – *dominae*, что означает *госпожа; хозяйка дома; супруга*.

Лесбия была хозяйкой другого дома, и в этом доме Катуллу не светило любовное счастье. Да и не могло светить, хотя бы уже потому, что «реальная Клодия, – как выражается Гаспаров, – была знатной женщиной». Да, более, чем знатной. Ученый, между прочим, изумляется тому факту, что при всей знатности Клодии, ставившей ее «гораздо выше безродного молодого веронца», в стихах Катулла «нигде, ни единожды не мелькает взгляд на Лесбию снизу вверх… Он говорит о ней как о равной или как о низшей». Это, конечно, тоже странно.

Что ж, странным должно выглядеть и то предположение, к которому нас неизбежно приводят все обстоятельства, сопровождавшие эту любовную историю.

В трактате датского философа Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет» есть глава под названием «Похвальная речь Аврааму». В ней говорится: «Подобно тому, как Господь сотворил мужчину и женщину, он создал героя, а с ним – поэта или писателя. Последний не может делать того, что первый, он способен лишь восхищаться героем, любить его, радоваться ему. Однако он так же счастлив, и не менее, чем тот, первый, ибо герой – это как бы его собственная лучшая сущность, в которую он влюблен; при этом он радуется, что это все же не он сам, и его любовь может поистине быть восхищением. Сам он – гений воспоминания, он не может ничего сделать, не восхитившись тем, что сделано; он ничего не считает своим, но он ревнует к тому, что ему доверено. Он следует выбору своего сердца, однако стоит ему найти искомое, как он снова начинает бродить возле всех ворот со своими песнями и речами, чтобы все могли восхищаться героем так же, как он, чтобы все могли гордиться героем, как он. Это и есть его достояние, его скромное достижение, в этом и состоит его верная служба в доме героя».

Разумеется, это метафорический текст. Но это и великий текст, ибо он одновременно возносится над реальностью и прочно схватывает ее, высвечивая в ней нечто самое сокровенное. «Герой» и «поэт» здесь – образы-символы, архетипы жизненного поведения, и в то же время – образы в чистом виде, без малейшей примеси символического значения. Герой и поэт как таковые – когда бы они ни жили и какие бы имена ни носили.

История римского всадника Целия, сенаторской вдовы Клодии и веронского стихотворца Катулла, развернувшаяся в I веке до Р. Х., как никакая другая, соотносится с той реальностью, которая спустя девятнадцать веков выразилась по воле Провидения и стараниями датского философа в «Похвальной речи Аврааму».

Да, Целий был героем этой истории. Катулл – поэтом, «бродившим» вокруг нее «со своими песнями и речами».

Это, конечно, кажется невероятным, что он воспел не свою любовь, а любовь героя. Но у Катулла есть много такого, чего нельзя объяснить, если не обращать внимания на одну поразительную особенность его поэзии, а именно – ее неистовую театральность. Вот он поносит Цезаря. Поносит азартно, воодушевленно. При этом страшно раздражается, когда тот толкует ему о своих человеческих достоинствах, не понимая, что Катуллу нет дела, каков Цезарь в реальности, за пределами его театра – бел он там или черен. У Катулла свой Цезарь – блудозадый, ничтожный и алчный. Но вдруг в какой – то момент Катулл награждает полководца без малейшей иронии в прощальном стихотворении к Лесбии возвышенным эпитетом *magnus – славный; благородный; великий*. Ему омерзительна Амеана, она вызывает у него брезгливое отвращение, потому что она любовница пакостного Мамурры и потому что там, в спектакле Катулла, на ней безобразная маска – огромный носище и глаза, как у жабы. Но вот, несмотря на все эти ужасы, он пользуется ее любовными услугами, – это именно у него она требовала за ласки фантастические суммы:

> Амеана, изъебанная девка,
> десять тысяч разом с меня просит,
> да, та девка с безобразным носом,
> жулика формийского подружка.
> Родичи, какие за нее в ответе,
> и друзей, и лекарей зовите:
> помешалась девка, и себя к тому же
> в бронзе отражающей не видит[22].

Самые грязные, запредельно оскорбительные латинские ругательства, угрожающие и рту, и заду, он беспрестанно обрушивает на неких Фурия и Аврелия: *Pedicabo ego vos et irrumabo,/ Aureli pathice et cinaede Furi*. Он будто бы их люто ненавидит; они будто бы его враги; они отбивают у него возлюбленного мальчика Ювенция; и к тому же они тупые – ничего не смыслят в поэзии. Но вдруг выясняется – Аврелий и

Фурий вовсе не враги, а как раз таки самые близкие его друзья, ибо именно их в 11-м стихотворении он называет *comites Catulli – окружение; спутники; свита* Катулла, и им поручает передать бездушной изменнице последние *non bona dicta* («недобрые слова»).

В этом непредсказуемом театре, где торжествует двойственность, где сама реальность приобретает черты эксцентрического спектакля, все возможно и все вероятно. Здесь Цезарь играет Цезаря, здесь маски неотличимы от подлинных лиц, а лица – от ярких масок. И некая роль здесь может явиться на ум поэту, когда еще не найден ее исполнитель. Клодия еще не вошла в его стихи, когда в них уже возник псевдоним Лесбия. Это произошло случайно. Катулл переводил с греческого оду Сапфо, обращенную к девушке, которую поэтесса страстно любила и ревновала к мужчине. Она не называла возлюбленную по имени. Катулл в эту оду, включенную в его книгу под номером 51 («Тот с богами, кажется мне, стал равен…»), внес множество произвольных изменений и дополнений. В том числе он ввел в нее и это обращение – Лесбия, – связанное исключительно с тем, что Сапфо была родом с острова Лесбос, где она жила в окружении чувственного сообщества лесбосских девушек.

Примечательно, что на протяжении какого-то времени Катулл, словно разыскивая героя и героиню, которых уже заждалась его нетерпеливая Муза, умоляет то одного, то другого приятеля поведать ему историю своей любви. Вот он обращается к Флавию, заметив по его изможденному лицу и по убранству его спальни, что он с головой погружен в бурный роман:

> Расскажи мне про радость и про горе,
> И тебя, и любовь твою до неба
> Я прославлю крылатыми стихами[23].

И с такой же горячностью старается развязать язык Камерию, сладостно погибающему в объятиях любовницы:

> Если будешь молчать, зажавши губы,
> Лучший ты из даров любви упустишь, —
> Радует Венеру говорливость.
> Впрочем, губ не разжимай, коль хочешь,
> Лишь бы вашей любви я был участник[24].

Но еще более примечательно, что позднее, когда Катулл, уже следуя «выбору своего сердца», бесновато и без разбора поносил

всех, кто пытался добиться или добился любви от Лесбии, он ни единым словом не задел того, кого он должен был бы из ревности просто уничтожить «злыми ямбами», – Марка Целия.

К Целию обращено самое таинственное стихотворение цикла. Печально-возвышенное, короткое, оно преисполненно дружеских чувств:

> Целий, Лесбия наша, Лесбия эта,
> Эта Лесбия, что была Катуллу
> И себя самого и всех милее,
> В переулках теперь, на перекрестках
> Величавого Рема внуков ловит[25].

Что означает здесь это – «наша» (*nostra*)? Общая любовница? Или все же – твоя любовь, Целий, и моя героиня?

Да, конечно, в каком-то смысле она была их общей любовницей. Герой обладал ею, ощущая, что без поэта его обладание призрачно, «ибо поэт, – говорится в „Похвальной речи Авраму“, – это как бы лучшая сущность героя, и пусть она бессильна, подобно всякому воспоминанию, но она и разъясняет все, как это делает воспоминание». Поэт же, воспевая его возлюбленную, ставил себя на место героя – тоже своей «лучшей сущности». Ставил вовсе не потому, что сам он не мог любить. У поэта было великое множество всевозможных «попутных интрижек», замешанных на кабацком веселье и радостной похоти. Но что-то резко впечатляющее, театрально необычное видел он в этой любви Целия и Клодии, знаменитых на весь Рим. Чем-то могущественным и великолепным прельщал его образ героя. Что-то навсегда поразило его в образе героини – та притягательная для его поэзии двойственность, что напрочь исчезла апрельским днем на Форуме в обдуманной речи Цицерона, над которой поэт саркастически усмехнулся, изумленный ее бесчувственной виртуозностью.

Катулл любил эту любовь. Он любил ее ревниво и самозабвенно. И в этом был его беспримерный подвиг. Увековечив мимоходом своих мелких потаскушек, он в полную силу таланта, отмеренного ему Небесами, воспел великую шлюху Рима Клодию – любовь свирепого всадника Целия.

Он выполнил службу в доме героя.

Встреча в Тамбове

Существо языка, открыл Хайдеггер, «мыслит, строит, любит». И, разумеется, говорит. «Язык *говорит*, – писал философ. – И это означает одновременно: *язык* говорит».

Мало того, только язык и способен это делать. Потому что «Язык по своей сути не выражение и не деятельность человека. Язык говорит».

Что же касается человека, то он «говорит только тогда, когда он соответствует языку». Но даже тогда, когда человек говорит, ничего не меняется. Потому что «*единственно* язык есть то, что собственно говорит. И он говорит *одиноко*», – утверждал Хайдеггер. Почему одиноко? Разве оно едино, это говорящее разными языками существо языка? Оно едино. И в то же время множественно. Так же, как едины и множественны индийские божества; как един и множественен Шри-Кришна, он же Атман, показавший воину Арджуне перед битвой на Поле Куру себя во всем.

Единое существо языка проявлено в разнообразных существах языка. Одно из них – *существо языка Платонова*.

Вся загадка Платонова в этом существе, которому Платонов всего лишь соответствовал. Но это «всего лишь» было его тайным подвигом, который он совершал не в бреду, не в бессознательном порыве, не в пылу какого-то слепого юродства, а в ясном сознании. Он был бодрым и бдительным стражником, охранявшим жизнь непостижимого существа языка Платонова, которое родилось и обитало в нем.

Не случайно и не из одного только писательского желания сохранить в неприкосновенности свой текст он подчеркнул однажды (в письме к жене из Тамбова от 1927 года) четыре слова:

> «Дорогая Маруся!
>
> Посылаю „Епифанские шлюзы“. Они проверены. Передай их немедленно кому следует. Обрати внимание Молотова и Рубановского на необходимость *точного сохранения моего языка.* Пусть не спутают…»

Пусть не спутают. Что это значит? Пусть не спутают, не припутают, не примешают дух какого-нибудь другого существа языка? Или это значит – пусть не спутают с ошибкой, вывертом, недоразумением то, что родилось в полном разумении и было зафиксировано безошибочно.

Платонов не был неким счастливым, блаженно наивным

мастером, не ведающим, что он творит. Он ведал. И на необходимости точного сохранения своего языка настаивал именно потому, что ясно понимал: язык *так* еще никогда не говорил. *Как*? Ответить на этот вопрос – значило бы возвыситься не только над отдельным существом языка Платонова, но и над существом языка как таковым.

Если мы призна́ем, что язык у Платонова доходит в описании бытия мира и живущих в нем существ до своих последних возможностей, до своих крайних пределов, где происходит увечье и уничтожение языка и одновременно выражение невыразимого, то каким языком мы должны описывать сам этот язык? Таким, который лежит уже *за* пределами языка. То есть никаким. За пределы выйти никто не может. «Язык могущественнее и потому весомее нас», – говорит Хайдеггер.

Рассуждать о языке Платонова (а значит, и о самом Платонове) можно только в рамках собственного, глубоко субъективного впечатления, каким бы ограниченным и неизъяснимым оно ни было. Это единственно верный путь. Всякая попытка научно-систематического, объективно-филологического суждения о языке Платонова абсолютно бессмысленна. Потому что язык Платонова, стремящийся выйти за пределы языка, не предполагает умственной и даже чувственной деятельности. Он предполагает обморочное бессловесное ви́дение существ, вещей и явлений мира.

> В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования.

Это первое предложение повести «Котлован».

Что-то здесь задевает сознание; какое-то закравшееся нарушение разворачивает его, как разворачивает ледяная кочка налетевшие на нее сани. Осознать, в чем оно, это *что-то*, пока еще возможно, – пока не сделан следующий шаг в глубину текста. Оно – в словосочетании «*тридцатилетие личной жизни*»; оно в том, что это словосочетание обладает той предельной избыточностью, которая и доводит язык до его собственных границ, туда, где брезжит иное, внеязыковое понимание смыслов; и оно, наконец, в том, что это словосочетание на самом деле не несет в себе никаких нарушений – напротив, является не просто правильным, а сверхправильным, правильным до такой степени, в какой земные существа не нуждаются: для них было бы достаточно сказать «в день тридцатилетия Вощеву дали расчет». Но «в день тридцатилетия личной жизни…» более понятно, – более понятно для каких-то других существ, которые словно

ничего не знают о жизни воплощенного мира и его обитателях, но зато хорошо знают, что жизнь вне воплощения, вне личины, вне личности – *не личная жизнь* – никакими тридцатилетиями не измеряется. Потому что жизнь в целом – до и после *личной* – времени не подвластна. «Ибо не было времени, когда бы я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов, и в будущем все мы не прекратим существовать», – говорит «Бхагавадгита» голосом одного из таких существ.

> В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

В этом – втором – предложении «Котлована» уже нельзя указать, в чем именно сосредоточено то непостижимое *что-то*, которое с корнем выворачивает сознание из почвы земного бытия, сообщая ему о земном же бытии. *Что-то* – здесь уже во всем и везде – в самом существе языка Платонова, которое обращено вовсе не к человеческому сознанию и изъясняется вовсе не с человеческими существами, а с существом равным себе или стоящим выше. Ему, этому высшему существу, показана жизнь в избранном сгустке вещества, который называется земным миром. И свойства именно его сознания, божественно безучастного, удаленного и всепринимающего, учитывает на каждом шагу существо языка Платонова, и в особенности там, где является смерть, которая не представляет для этого сознания трагически значительного события:

> В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь – так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу, – сообщает незримому существу в «Сокровенном человеке» существо языка Платонова. – Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой.
>
> «И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» – обнаружил событие Пухов.

Откуда у существа языка Платонова эта уверенная беспечальность в словах о смерти? От туда же, откуда она в словах просветленных, блаженных; в словах священных писаний Запада и Востока.

«Не проявлены существа вначале, проявлены в середине, не

проявлены также в исходе; какая в этом печаль, Бхарата?» – говорит Кришна Арджуне, павшему духом, выронившему на дно колесницы оружие от *человеческого* ужаса, от страшной мысли, что вот сейчас он должен умертвить на Поле Куру в братоубийственной битве своих родных и близких.

Должна была быть какая-то очень важная причина, чтобы язык заговорил так, как он заговорил у Платонова – не принимая в расчет уязвимое сознание проявленных существ.

Искать эту причину мы можем только в *известном* Платонове, то есть в его *личной*, заключенной в индивидуум жизни, которая длилась с 1899 по 1951 год. Но причина остается недоступной. Потому что она в другом Платонове. В том неисследимом существе, жизнь которого уходит в бесконечность по обе стороны от этих дат.

Вероятно, именно с этим другим Платоновым – Платоновым-существом – Платонов-человек встретился однажды в 1927 году в Тамбове.

Чуждый всякого мистицизма, он описал эту встречу в письме к жене детально и ошеломленно, настаивая на сугубой серьезности своего сообщения.

Вот оно:

> «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) – ночь слабо светилась поздней луной, – я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, *самого себя*. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тот же я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих глаз. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил.
>
> До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это – больше всякого чуда».

Нет нужды и возможности комментировать эти слова. Лишь на одно обстоятельство следует здесь обратить внимание. Мы уже говорили в начале о соответствии Платонова существу языка Платонова. Спросим теперь: что делало в Тамбове за письменным столом у печки таинственное существо, которое не только обликом, но и духом (ибо Платонов ясно видел в нем свое *я*) соответствовало Платонову? Мыслило ли оно, строило, любило?

Оно полуулыбалось и быстро писало, не показывая своих глаз. И это все, что мы знаем о нем.

Последнее озарение Пушкина

Добрый принц

Воля Рока начала осуществляться гораздо раньше, чем все ее сложные и разнообразные усилия сошлись в одной точке – в пуле, смертельно ранившей поэта.

Осенью 1833 года в Берлине «молодой человек живого и независимого характера», как пишет о нем биограф, двадцатилетний француз родом из Кольмара по имени Жорж Шарль Дантес получил рекомендательное письмо в Россию на имя директора Канцелярии военного министерства графа Владимира Адлерберга. Письмо было подписано принцем Вильгельмом Прусским, к которому Дантес явился по протекции своих германских родственников искать «счастья и чинов». На родине он уже не мог найти ни того, ни другого. Июльская революция во Франции 1830 года заставила Дантеса, приверженца законной династии Бурбонов, покинуть элитарную военную школу Сен-Сир, сулившую ему офицерский чин. Однако и принц Вильгельм не мог ему дать желанного чина, пообещав только – унтера. Слишком мало Дантес проучился в военной школе – меньше года.

Но совет принц Вильгельм дал Дантесу охотно. Ехать в Россию! И этот совет вместе с рекомендательным письмом был одним из наиболее важных усилий той воли, которая тщательно строила свой трагический и хитросплетенный сюжет.

Воскрешение в гостинице

Точное направление – Россия, Петербург – было выбрано. Но на что мог рассчитывать Дантес, а вместе с ним и Воля Рока, направлявшая его?

Едва ли граф Адлерберг предложил бы юному иностранцу нечто большее, чем принц Вильгельм. Положение Дантеса было плачевным. Отец – обедневший эльзасский барон с шестью детьми на руках – был в состоянии снабдить сына лишь суммой в 200 франков ежемесячно, тогда как на офицерскую жизнь в пышном Петербурге требовалась – 1000. Русского языка Дантес совершенно не знал. Военными науками не владел в той мере, чтобы сдать экзамен в Военной академии и получить «офицерские патенты». При таких препятствиях не могло быть и речи, чтобы

Дантес вошел туда, где он мог бы столкнуться на равных с семьей, с друзьями и врагами Пушкина – в столичный высший свет. Письма было мало. Нужно было что-то еще. И это «что-то» незамедлительно является. Рок одним махом устраняет неодолимые препятствия, пуская в ход свое непобедимое оружие – фантастический случай!

Осенью 1833 года, когда Дантес, как бы чего-то дожидаясь, все еще скитается по Германии, в дело вводится новый персонаж – барон Луи Борхард де Геккерен. Он – нидерландский посол при русском дворе в Петербурге. Он одинок. Он благостно богат. Он принадлежит к одной из самых знатных голландских фамилий. У него надежные и обширные связи в вельможных кругах русской столицы. И он вдруг попадает – этак нечаянно, проездом, возвращаясь из отпуска на службу в Петербург, – именно в тот «маленький захолустный» городок Германии, где находится Дантес. А очутившись в этом городке, посол останавливается именно в той «скромной гостинице», где в дешевом номере, уже не помышляя ни о чинах, ни о России, лежит на кровати одинокий француз «с грозным признаком смерти у изголовья». Француза сразила жестокая простуда. Соединившись с его безденежьем и беспомощностью, она уже развилась в тяжелое воспаление легких. Дантес тает на глазах. Он уже должен исчезнуть из жизни, а заодно и из истории, не достигнув заснеженной поляны под Петербургом, близ Черной речки.

Но вот хозяин гостиницы – тоже случайно, за ужином – рассказывает барону с сочувственными вздохами об умирающем постояльце. Барон скуки ради решает взглянуть на бедолагу. И эта нужная встреча, искусно и настойчиво сотворенная Роком, происходит.

Впрочем, какое дело королевскому посланнику до умирающего скитальца-француза. Ну, взглянул; ну, подал из милости на лекарства. И ушел. Но нет! Воля Рока предусмотрела всё. Ей, конечно, известно, что юный Дантес до крайности, до некоторой даже женственности, красив. И ей известно также – как известно это и всему петербургскому свету, – что барон Геккерен страстный гомосексуалист. Никаких случайностей случай не допускает. Сорокадвухлетний барон с первого же взгляда, охваченный и светлой нежностью, и темной похотью, отчаянно влюбляется в очаровательного юношу. Отложив свой отъезд из захолустного городка, посол самолично ухаживает за Дантесом, ставит его на ноги и, зная о его намерениях попытать счастья на чужбине, предлагает ему ехать в Петербург с ним и под его покровительством.

Вот теперь всё слажено. Теперь – в Россию!

Ропот гвардии

В октябре 1833 года Дантеса и Геккерена доставил в Кронштадт пароход «Николай I». А вскоре, когда Геккерен, исполняя мечту своего возлюбленного об офицерском чине, пускает в ход высокие связи, в судьбе Дантеса принимает участие и человек Николай I.

В январе 1834 года по повелению Николая Дантес был допущен к офицерским экзаменам. Три из них: по русской словесности, уставу и военному судопроизводству – те, которые могли бы воспрепятствовать замыслам Рока, если бы Дантес явился в Россию без нежного и влиятельного покровителя, – Дантесу было разрешено не сдавать. Зимой 1834 года он стал офицером. Да еще каким офицером! Корнетом самого блистательного полка: Кавалергардского Ее Величества.

И вот теперь зловещая звезда уже восходила на петербургском горизонте, становясь различимой для Александра Сергеевича. Она, конечно, была еще тусклой, едва лишь приметной. Но Пушкин уже знал ее имя. «Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет», – записал он 26 января 1834 года в своем дневнике.

Сивилла Флорентийская

Между тем в жизни самого Пушкина еще до приезда Дантеса развивалась, устремляясь к единой финальной точке, намеченной Роком, другая линия безжалостного сюжета.

18 февраля 1831 года после долгих и сложных перипетий сватовства состоялась свадьба Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. Красота этой юной, девятнадцатилетней «богини» была такова, что даже признанные очаровательницы Петербурга не в состоянии были испытывать к Наталье Николаевне ни чувства зависти, ни чувства соперничества. Ее облик вызывал лишь полный и искренний восторг. О нем говорили, не жалея эпитетов – «небесный», «поэтический», «несравненный», – как о чем-то не принадлежащем земной суетной жизни и даже самой Наталье Николаевне. «Это – образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца», – записала в дневнике внучка Кутузова, графиня Дарья Фикельмон.

Такой, наверное, и должна была быть жена поэта. Но жена не здешняя, не земная. Здешнюю и земную в ней разглядел поэт

Василий Туманский, приятель Пушкина, посетивший новобрачных в Москве: «Пушкина – беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами лица и лукавыми глазами, как у любой гризетки». Все остальные – и приятели, и друзья – только восхищались. Но восхищаясь, почему-то упорно отговаривали Пушкина от этого брака. Разумных причин тому выдвигали немало. Одни, самые близкие, такие, как князь Петр Вяземский, заботились о его холостяцкой свободе и преданности музам. Другие указывали на значительную разницу в летах и – неизмеримую – в жизненном опыте. Разница же в наружности («смесь обезьяны с тигром» было лицейское прозвище Пушкина) смущала всех, не исключая и самого Александра Сергеевича. «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унизительно: так мал был он в сравнении с нею ростом», – вспоминал Вяземский.

И все же только проницательная Дарья Фикельмон, прозванная Сивиллой Флорентийской за способность предугадывать будущее, с нечаянной внятностью высказала то, что, быть может, мучительно и безотчетно ощущали близкие друзья Пушкина, улавливая краем глаза в кутерьме житейских событий почерк Провидения. «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике – эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания», – записала *Сивилла* в своем дневнике 12 ноября 1831 года.

Никаких страданий тогда еще не было. Напротив! Все складывалась блестяще.

После переезда Пушкиных из Москвы в Петербург Наталья Николаевна была с восторгом принята при дворе. Шаг за шагом, бал за балом она завоевывала Северную столицу, обвораживая всех – от юнкера до царя, от провинциальной графинички до императрицы. Ее обожали, в нее влюблялись, ее боготворили, и это с каждым бальным сезоном все больше и больше развивало ее склонность к кокетству; льстило ее женскому тщеславию. «Ты, кажется, не путем искокетничалась… Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница», – писал ей Пушкин, любя ее, впрочем, с безграничным доверием.

К 1836 году в Петербурге уже не было дамы или девицы, которая могла бы сравниться с Натальей Николаевной по успехам в высшем свете и по количеству тайно страдающих поклонников.

Тем временем и звезда Дантеса, которого Рок, оберегая свой замысел, наделил невероятной, не знающей осечек везучестью, поднималась в зенит.

Мало того, что он был принят в гвардейский полк сразу же офицером, что было редчайшим случаем. Вскоре корнета Дантеса переводят из запасного эскадрона в действующий – это было почти невозможно без знания русского языка, которым Дантес так и не овладел. Но всё невозможное устраняется с его пути.

В январе 1836 года Жоржа Дантеса, не смотря на множество дисциплинарных взысканий, производят в поручики. Барон Геккерен обожает своего любовника все больше и больше, щедро снабжая его деньгами и знакомствами. Но посол Геккерен – лицо официальное. И поэтому страстному обожанию нужно придать законный характер.

Весной 1836 года происходит событие, которое зажигает звезду Дантеса еще ярче. И в этом событии, как и во многих других, сделавших Дантеса *Дантесом*, проглядывает нечто странное.

При живом отце, французском помещике, дворянине, который к тому же в одном из своих писем в Петербург говорит об «исключительной силе уз, связующих отца с сыном», голландский посланник решает усыновить поручика русской службы.

В ответ на запрос Геккерена об усыновлении Дантес-отец пишет: «В самом деле, наблюдая внимательно за ростом привязанности, которую мой ребенок внушил вам…» Вот тут бы Жозефу Конраду и отказаться деликатно от этого обидного, если уж не загадочного, предложения. Но нет, «связующие узы» послушно устраняются из отцовского сердца. И Жозеф Конрад «спешит сообщить» Геккерену о другом отказе: «Я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа Шарля Дантеса и в то же время разрешаю вам усыновить его в качестве вашего сына…»

На усыновление дают согласие – тоже без малейших заминок – голландский король и русский император. И в мае 1836 года Жорж Дантес, превратившись в Жоржа Геккерена, принимает титул, герб и наследные права на состояние нидерландского посланника.

С этого времени в Петербурге уже нет «модного человека», равного Дантесу, который и до своей сиятельной метаморфозы был, по свидетельству полковых друзей, «избалован постоянным успехом в дамском обществе». Щегольское остроумие, обворожительное лицо, высокий рост… «Красивый, можно даже

сказать блестяще красивый кавалергард», – говорит о нем князь Владимир Трубецкой. Как и юная Пушкина, Дантес шаг за шагом, раут за раутом покоряет гостиные и салоны вельможного Петербурга, где все от него в восторге. К 1836 году он дружески вхож во все те дома – Карамзиных, Вяземских, Хитрово, Виельгорских, Фикельмонов, Воронцовых, – где часто бывает чета Пушкиных.

Он вхож в круг жизни Пушкина. Линии рокового сюжета сплетаются.

Пляска смерти

Когда Пушкин на одном из светских раутов, куда он приехал вместе с женой и ее незамужними сестрами, Екатериной и Александрой, впервые увидел Дантеса, Дантес ему понравился.

Госпожу Пушкину Дантес, пользуясь выражением Геккерена, «отличил в свете» незамедлительно. «Отличила» его и она.

На упорные и открытые ухаживания Дантеса в зимний бальный сезон 1836 года Наталья Николаевна ответила таким приветливым поощрением, каким она еще не отвечала ни одному из своих поклонников. В свете недолго говорили об одной только «страстной любви» Дантеса и об одном только «легкомысленном кокетстве» Натальи Николаевны. Очень скоро произошло то, что высказал о своей жене и Дантесе сам Пушкин: «Il l'a trouble»[26]. Все гостиные и салоны Петербурга наполнились толками о *взаимности* чувств Дантеса и Пушкиной. Свет принялся следить за их романом с игривым наслаждением – во все лорнеты. Сплетни и слухи жестоко терзали Александра Сергеевича, защищавшегося от них только работой и верой в непогрешимость супруги. Но временами он с трудом совладал со своею пылкой, ревнивой натурой. На званых вечерах при появлении Дантеса он то мрачнел, то нервно хохотал. А роковой сюжет тем временем неуклонно развивался.

В феврале 1836 года между Дантесом и Натальей Николаевной происходит объяснение в любви, о чем Дантес с восторгом сообщает Геккерену, отлучившемуся в Гаагу. В письме к барону он приводит слова Пушкиной: «Я люблю вас как никогда не любила, но не просите у меня никогда ничего большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит…»

Геккерен, вернувшись в Петербург, вдруг с необычайным рвением вмешивается в роман своего возлюбленного для того, чтоб устроить ему как раз вот это – «все остальное».

Взявшись за роль сводника, он преследует Пушкину повсюду.

Перехватывает ее то в одном, то в другом бальном зале и, наклоняясь к ее уху, жарко шепчет ей под звуки мазурки о необыкновенных страданиях «сына»; о его «тяжелой болезни», будто бы вызванной любовными муками; о его готовности расстаться с жизнью за один только краткий миг близости с нею! Она должна подарить ему этот миг ради спасения его юной жизни – Геккерен просит, заклинает, умоляет… Зачем? Здесь сказывается вся хитрость отношений между гомосексуальным Геккереном и бисексуальным Дантесом. Геккерена уже давно раздражает это увлечение, отнимающее у него немалую долю любовного пыла партнера. Если же Геккерен поможет Дантесу добиться от Пушкиной «остального», то при умелой огласке дела, которую опытный дипломат, конечно же, обеспечит, Пушкина, покрытая позором, будет неизбежно отлучена от петербургского света, а значит и от Дантеса, не важно кем – обманутым мужем или самим светом.

Но изощренные старания Геккерена не достигают цели. Что-то не складывается в роковом сюжете. Лишь бледные фантомы ангела смерти кружатся над поэтом. В течение 1836 года Пушкин трижды по разным причинам (литературным, условно-светским) вступает в дуэльные отношения: с генералом Репниным, с отставным гусаром Хлюстиным, с графом Соллогубом. Никто из них, свидетельствуют письма и мемуары, *стрелять в Пушкина*, если бы дело дошло до барьера, не собирался. Подлинный ангел смерти ждал нового поворота событий.

И поворот случился.

Его осуществление было возложено на побочную дочь графа Строганова Идалию Полетику, питавшую по каким-то мотивам (до конца неясным ни одному исследователю) столь бешеную ненависть к поэту, что на старости лет, живя в Одессе, она помышляла плюнуть в установленный там ему памятник…

«Всё остановить»

2 ноября 1836 года Идалия Полетика приглашает Наталью Николаевну на свою квартиру в Кавалергардских казармах – пообедать, поболтать… Пушкина едет.

Очутившись в безмолвной квартире, она проходит в комнату Идалии. Но вместо приятельницы ее ждет там Дантес. Выхватив пистолет, он падает на колени, приставляет дуло к виску и грозит застрелиться на ее глазах, если она сию же минуту не согласится на то, о чем ее умолял приемный «отец». Положение ее безвыходно. Дантес держит напряженный палец на курке. От

отчаяния она громко вскрикивает. И на ее крик в комнату забегает горничная. Воспользовавшись ее появлением, Пушкина быстро покидает квартиру.

Так ли все было, как сообщают осведомленные мемуаристы, или иначе – не имеет значения. Это была западня! Свидание Дантеса и Пушкиной *наедине* в казарменной квартире (муж Идалии был кавалергардским ротмистром) состоялось. И сам этот факт давал барону Геккерену то, чего он желал.

Утром 4 ноября шесть адресатов – братья Россеты, граф Соллогуб, семьи Вяземских, Карамзиных, Виельгорских и Хитрово – получают по городской почте в двойном конверте (внутренний – на имя Пушкина) единообразный анонимный пасквиль – шутовской «диплом», в котором Пушкин назван новым членом («коадъютором» и «историографом») «Ордена рогоносцев». Точно такой же экземпляр получает в это утро и сам Александр Сергеевич.

Дело сделано. Барону Геккерену остается только ждать тех мер (удаление, деревня, что угодно!), которые будут приняты к Пушкиной.

Но то, что произошло, бросило Геккерена в холодный пот.

4 ноября, после откровенного разговора с Натальей Николаевной, в котором она рассказала ему и о преследованиях Геккерена и о подстроенном свидании, Пушкин посылает по почте на Невский проспект в особняк нидерландского посольства вызов на имя Жоржа Дантеса. 5 ноября письмо пришло. Но Дантеса дома не было, он дежурил в дивизионе. И письмо распечатал барон Геккерен… Дуэль!! На это он никак не рассчитывал. Это скандал, это конец его карьере… А его возлюбленный?!.. Даже при удачном исходе поединка Геккерен теряет его: Дантесу грозит в лучшем случае разжалование и ссылка, в худшем (по букве закона) – повешение! Голова барона идет кругом. Но в кружении страшных мыслей вдруг мелькает одна – спасительная. В письме Пушкина нет ни малейшего оскорбления, которое делало бы дуэль неизбежной, не указана и причина – один только вызов!

В тот же день, дождавшись Дантеса и запретив ему вмешиваться в дело, барон сам едет к Пушкину. Он объявляет Александру Сергеевичу, что «сын» еще не знает о письме, но что барон принимает вызов от его имени: Дантес будет драться. Однако Геккерен просит пощадить его «отцовское» сердце – дать 24 часа отсрочки! И Александр Сергеевич дает отсрочку. Она-то и нужна была нидерландскому посланнику, который хорошо знал, как дорожат здесь друзья этим «потомком одного африканского негра», как выразился он в своем письме в Голландию. Кто-нибудь

из них обязательно явится, чтоб затушить пожар. И барон не ошибся.

На следующий день, 6 ноября, когда Геккерен снова приехал к Пушкину просить о новой, двухнедельной, отсрочке, он уже застал в его квартире на Мойке поэта Жуковского, которого Наталья Николаевна срочно вызвала из Царского Села, где тот постоянно жил, воспитывая цесаревича.

«…всё остановить…» – записал Жуковский 7 ноября в своих конспективных заметках.

В этот день он уже вступил в переговоры с Геккереном. И барон, пользуясь тем, что Жуковский был далек от светских интриг и слухов, предпринимает такой ход, которого не ожидал никто, включая и Дантеса.

Он объявляет Жуковскому, что Дантес на самом деле горячо влюблен в старшую сестру Пушкиной – Екатерину Гончарову. Мало того, «сын» мечтает на ней жениться! И барон готов дать согласие на этот брак, если, кончено, Пушкин возьмет назад свой вызов. Но сделать он это должен не на том основании, что Дантес намерен жениться на его свояченице – женитьба в таком случае будет выглядеть трусливым спасением от поединка, – а просто так: возьмет на назад, и всё!

Воодушевленный этим *«открытием»* Жуковский едет с Невского на Мойку, чтобы успокоить Александра Сергеевича и обрадовать Екатерину, засидевшуюся в девицах и, разумеется, безумно влюбленную, как и многие барышни, в «блестяще красивого кавалергарда».

Но на это сообщение Пушкин отвечает с таким бешенством, что Жуковскому становится ясно – «всё остановить» невозможно. Теперь Александр Сергеевич еще более непреклонно желает драться. Мысль о женитьбе, ничем официально не подтвержденная, это только подлая уловка: как только он возьмет вызов назад, женитьба будет отменена, объясняет он Жуковскому.

В последующую неделю Жуковский убеждается, что именно так и замыслил Геккерен. Во время новых переговоров, к которым уже привлечена и тетка Натальи Николаевны, фрейлина Екатерина Загряжская, барон упорно увиливает от официальных подтверждений.

Только 14 ноября, напуганный решительностью Пушкина, Геккерен в присутствии свидетелей вынужден объявить Александру Сергеевичу о намерениях Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. В ответ на это Пушкин вручает барону письменный отказ от вызова. Александр Сергеевич удовлетворен – низость Дантеса, вступающего в брак с нелюбимой женщиной под угрозой дуэли, доказана – и Наталье Николаевне, и светским

друзьям. Дело улаживается – «всё останавливается».

Но вдруг в эту жестокую игру мести и пыла Рок вводит свою козырную карту – Дантеса. До того момента, пока он не получил письмо от Пушкина, он никак не заявлял о себе, во всем подчиняясь барону. Но в письме Пушкин подчеркнуто объяснял свой отказ от вызова сватовством Дантеса, и всю унизительность для него такой постановки вопроса («жениться или драться») Дантес хорошо понимал. Обиженный, он решил действовать сам.

Утром 16 ноября он послал к Пушкину своего секунданта, секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, с указаниями добиться от Пушкина другой формулировки отказа – без упоминания женитьбы на m-lle Гончаровой. В противном случае Дантес – «к его услугам».

Приступ бешенства, вызванный у Александра Сергеевича этим визитом, не шел ни в какое сравнение с прежним. «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только на счет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь», – сказал он 16 ноября за обедом у Карамзиных своему секунданту графу Владимиру Соллогубу (тому самому, с которым он несколько месяцев назад мог оказаться у барьера и который собирался выстрелить вверх, потому что «смотрел на Пушкина, как на бога»). Свои указания Александр Сергеевич произнес таким тоном, что Соллогуб онемел.

В отчаянии был и Жуковский: *«Снова дуэль. Секундант».*

К д'Аршиаку после бессонной ночи Соллогуб явился разбитый и подавленный. Его удивило, что и д'Аршиак тоже не спал. Еще больше его удивили слова д'Аршиака, сказавшего, что он «хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских». Явственно мелькнула надежда. Секунданты взялись тщательно изучать дуэльные документы. Шаг за шагом завязались переговоры, переписка.

К концу ноября усилиями друзей, стараниями Соллогуба и самого д'Аршиака, принявшего без совета с Дантесом заново сформулированный отказ от вызова, где по-прежнему упоминалось сватовство Дантеса, – «всё остановить» удалось.

10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой.

Отсутствие прямых оскорблений, вмешательство друзей, затяжные переговоры – все эти «ошибки» впоследствии были учтены Волей Рока. Это была репетиция. В смертельной премьере события разыгрались с фантастической слаженностью и быстротой.

В январе Петербург закружило балами. Они вспыхивали, зажигая окна вельможных домов, один за другим – у Строганова, у Вяземских, в Дворянском собрании, в саксонском посольстве, у Фикельмонов, у Воронцовых, у Мещерских.

И на всех этих балах, куда Александр Сергеевич сопровождал супругу, он вынужден был встречаться с новобрачной четой, – дома он не принимал ни Дантеса, ни Геккерена, заявив о невозможности отношений с этими «родственниками». А между тем следы ноябрьской бури уже улетучивались из ветреной головы Натальи Николаевны. Она снова взялась одаривать на балах Дантеса смущенными улыбками и кокетливыми взглядами, не обращая внимания на другие взгляды, – ревнивые и угрюмые, – своей сестры.

В сердце же Александра Сергеевича вновь открывались едва зажившие раны. Женитьба Дантеса, поначалу всех ошеломившая и заставившая сомневаться в его благородстве и способности любить (госпожу Пушкину или кого бы то ни было), вдруг получает в свете иное толкование. Геккерен и Дантес всеми средствами – через полковых друзей Дантеса, светских дам, посольских чиновников – распространяют слух, будто Дантес только потому и женился на нелюбимой женщине, чтобы спасти любимую – от бесчестья и злой расправы ревнивого мужа. Для подтверждения этой версии Дантес на балах с еще более дерзкой открытостью, чем до женитьбы, ухаживает за Пушкиной – танцует только с ней; обволакивает «жаркими и долгими взглядами» только ее; беседует, каламбурит, шутит только на радость *Натали*. И общество охотно принимает романтическую версию. Александр Сергеевич видит, как рушатся на глазах плоды его победы, добытой нервами, гордостью и мужеством. Удушливые сплетни, ядовитые ухмылки, жалящие лорнеты – всё возвращается, как неотступный кошмар. Клевета уже не отравляет, а сотрясает всю его кровь, доставляя на раутах зрителям увлекательное зрелище: «Снова начались кривляния ярости и поэтического гнева», – пишет Софья Карамзина.

Что свело эти «кривляния» в единый порыв навстречу роковой воле – приезд ли тригорских подруг Пушкина Евпраксии Вревской и Анны Вульф, которые рассказали ему, что и в провинции верят петербургским слухам, замечание ли царя, посоветовавшего Наталье Николаевне «быть как можно осторожней и беречь свою репутацию», или особенная развязность Дантеса на балу у княгини Мещерской 24 января, – исследователям точно не известно.

С 26 января 1837 года события понеслись вихрем.

Утром в этот день Александр Сергеевич отправляет барону Луи Геккерену письмо. Содержание его выходило «из пределов возможного», как выразился сам Геккерен. Это было полное уничтожение: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну… Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына». О самом же «сыне» в письме говорилось, что «он просто плут и подлец». Такие оскорбления надежно исключали любые переговоры, кроме формальных – «о материальной стороне дуэли».

Вечером того же дня секундант Геккеренов виконт д'Аршиак уже был у Александра Сергеевича с письменным вызовом от барона, из которого следовало, что драться будет – и за себя, и за «отца» – Дантес. Вызов был принят. Д'Аршиак объявил, что он ждет секунданта, чтобы условиться о месте и времени поединка.

Секундант Пушкину нужен был особенный. Никого из близких друзей, кто пустился бы «принимать меры», он уже не желал посвящать в дело. Теперь он должен был остаться один на один с Волей Рока, с некоей возвышающей силой – с «фаталитетом, который невозможно объяснить», как скажет потом князь Вяземский. Для Александра Сергеевича в этот день уже что-то объяснялось: слишком настойчиво врывался в его жизнь предначертанный сюжет. Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у графини Разумовской, где он втайне подыскивал себе секунданта, поражались его веселости, блистательности, легкости… Секунданта здесь он не нашел. Англичанин Артур Меджнис, к которому он обратился, вежливо отказал.

На следующий день, 27 января, Пушкин встал в 8 часов утра в еще более приподнятом и бодром расположении духа, чем накануне, *«после чаю много писал – часу до 11-го. С 11 обед. – Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни»*, – записал потом в конспективных заметках со слов домашних Жуковский. Веселости Александру Сергеевичу придавало и то обстоятельство, что он вдруг вспомнил о своем старом лицейском товарище Константине Данзасе. Вот этот скромный и благородный служака, инженер-подполковник «самых честных правил», подходил в секунданты лучше всех! Пушкин послал за ним.

В 12 часов Данзас подъехал к дому на Мойке. Увидев его в окно, Александр Сергеевич сам выскочил к входным дверям, радостно встретил его, провел в кабинет и заперся с ним там, –

вероятно, взял с него слово чести не разглашать дела. Через несколько минут Данзас вышел из кабинета и отправился по указанию Пушкина в оружейный магазин Куракина за пистолетами.

Ровно в час дня из дома вышел и сам Александр Сергеевич. Он взял извозчика; в условленном месте подобрал в сани Данзаса, уже выкупившего оружие, и они поехали на Большую Миллионную во французское посольство к виконту д'Аршиаку. Здесь Пушкин представил виконту своего секунданта и, высказав твердое намерение стреляться сегодня же, уехал.

Он дожидался Данзаса в кондитерской Вольфа, пока Данзас составлял с виконтом условия поединка. К половине третьего все уже было оговорено и записано. Расстояние между барьерами – десять шагов. Права первого выстрела нет ни у кого. Противники по знаку сходятся – у каждого по пять шагов – и в любой момент, не переступая барьера, стреляют. Место – за Черной речкой возле Комендантской дачи, время – пятый час пополудни.

Около четырех часов Данзас приехал в кондитерскую Вольфа. Александр Сергеевич спокойно пил лимонад. Необыкновенно спокоен он был и в дороге. Когда переезжали в санях через Неву, спросил у Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Данзас ответил серьезно: «Нет, через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Пушкин, конечно, шутил. Никто уже не мог «всё остановить». Воля Рока, открываясь ему, превращалась в его собственную волю, и теперь это уже была не зловещая и жестокая сила, а светлая и ясная – проясняющаяся – воля его судьбы.

На место прибыли в половине пятого. Ровно в то же время приехали Дантес и д'Аршиак. Отыскали безветренную поляну среди кустов. Снега было очень много. Три человека – Данзас, д'Аршиак и Дантес – упорно трудились, вытаптывая барьерный коридор, тропинку.

Пушкин в медвежьей шубе сидел на сугробе – «был столь же покоен, как и во все время пути», замечает Данзас. На вопрос секунданта, подходит ли выбранное место, отвечал: «Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее».

Барьеры отметили шинелями Данзаса и д'Аршиака. Секунданты зарядили пистолеты. Поставили противников. Подали им оружие. Данзас снял шляпу, подержал ее высоко над головой. Махнул. Пушкин быстро подошел к барьеру. Остановился и начал наводить пистолет. Дантес на ходу – за шаг от барьера – выстрелил… Пуля, завершая свой длительный и запутанный полет сквозь времена и события, наконец остановилась. Вошла в живот, перебила вену, скользнула по

окружности тазовой кости и ударила в крестец, раздробив его на осколки… Ранение было не только «безусловно смертельным», как потом определили врачи, но и в высшей степени мучительным… Александр Сергеевич упал на шинель Данзаса и лежал неподвижно. К нему бросились секунданты. Двинулся в его сторону и Дантес. Но Пушкин тут же остановил его, сказав по-французски: «Подождите! у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Вернувшись на место, Дантес стал правым боком к барьеру. Согнутой рукой прикрыл грудь. Данзас подал Пушкину другой пистолет: дуло первого при падении забилось снегом. Александр Сергеевич приподнялся на левой руке. Точно и неподвижно нацелил пистолет в Дантеса. Выстрелил. Дантес упал. Пушкин отбросил пистолет. Воскликнул «Браво!», полагая, что Дантес убит.

Что-то было в этом знаменитом восклицании – последние отголоски зрелищной и мучительной суеты бытия, уже отлетавшей от Пушкина. В следующее мгновение он начал прозревать нечто необыкновенное – непричастность Дантеса к свершившемуся. «Странно! Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие, но теперь я чувствую, что это почти огорчает меня», – произнес Пушкин.

Дантес не был убит. Пуля ниже локтя насквозь прострелила руку… Мысль об убийстве не должна была примешиваться к страшным физическим страданиям Пушкина в те двое суток перед кончиной, последовавшей 29 января 1837 года в 2.30 пополудни.

Высокая и светлая воля защитила его от нравственных мук – подставила под пулю летевшую сквозь руку в печень Дантеса серебряную пуговицу от подтяжек.

Через несколько месяцев, высланный из России, Дантес в Баден-Бадене, как пишет встретивший его там Андрей Карамзин, «с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном».

Эта была не его дуэль.

Она целиком принадлежала только судьбе Пушкина. Всех, кто видел его смерть, поражало выражение «божественного спокойствия» на его лице. Жуковский об этом выражении сказал более определенно: «Великая, радостно угаданная мысль».

Книга для комментариев на скрипке

С какой-то точки зрения было бы лучше, если бы записных книжек Платонова не существовало в природе. Достаточно и того, что Платонов оставил в мире прозу, которая принадлежит к разряду самых непостижимых явлений духа. Теперь к этой привычной непостижимости, терзающей и вдохновляющей разноязыких исследователей, прибавлена новая непостижимость.

Двадцать четыре записные книжки Платонова 1921–1944 годов, изданные в полном объеме[27], не прекратят споров вокруг романов Платонова. Потому что и сами эти книжки, собранные в один том, читаются как роман, – предельно откровенный роман Платонова о Платонове.

Предельно здесь не означает *очень*. Речь идет именно о пределе. Со дня выхода в свет этой книги, вероятно, уже не остается источника, который бы подвел нас ближе к Платонову, приоткрыл бы в большей степени тайны его мышления, мироощущения и языка. Граница обозначена. Записные книжки содержат в себе всё, что мы можем знать о Платонове – его сны и детские воспоминания, мимолетные и неотступные мысли, свернутые в кокон сюжеты, экспозиции и наброски к написанным и не написанным произведениям, заметки о поездках по стране, технические чертежи и схемы, размышления о Боге и революции.

И тем не менее – *всё* нужно понимать в том смысле, что ничего другого уже не будет. Подлинную летопись жизни и творчества писателя, утверждают исследователи, мы не сможем восстановить никогда. Не сможем, потому что, во-первых, Платонов не вел дневников. Во-вторых, у Платонова не было своего Душана Петровича Маковицкого, то есть такого добродетельного и аккуратного гения, который бы составлял по горячим следам хронику жизни писателя наподобие «Яснополянских записок». И в-третьих, никакие воспоминания современников не способны сообщить о Платонове ничего существенного, если, конечно, не считать в высшей степени существенным тот факт, что все современники, писавшие о Платонове, твердили в один голос об одном и том же – о его «поражающей воображение неразговорчивости».

Что ж, если бы Платонов заговорил с потенциальными воспоминателями в том духе, в каком он говорил наедине с собою в записных книжках, то это, вероятно, не только поразило, но и парализовало бы их воображение.

Во всяком случае, воображение перестает работать в обычном режиме, когда читаешь, например, вот эту запись, сделанную

Платоновым в 1942 году:

> *Щенок Филька в Уфе:*
> *один, без имущества, лежит на полу на холоде. Все, что можно сделать в таком состоянии, – весь инструмент должен заключаться лишь в собственном живом туловище: ни бумаги, ни пера!!*

Воображение, если оно только мгновенно не станет на какой-то особый путь восприятия реальности, вынуждено будет задавать здесь на каждом шагу вопросы. Что значит – *«в таком состоянии»*? Щенок это – что: состояние? В каком смысле? В том смысле, что щенок – это проявление, воплощение чего-то или кого-то, находящегося теперь в состоянии (теле) щенка? Тогда – кого и чего? Души животного? Или некоего тонкого невидимого духа, подобного Атману, который, согласно великой формуле Упанишад – *tat tvam asi* (буквально: «то – ты еси», или «всё живущее – это ты»), – пронизывает, не меняя своей изначальной сущности, любое *«живое туловище»*, какую бы зримую форму оно ни имело и кому бы ни принадлежало – щенку Фильке, который «лежит на полу на холоде», или русскому писателю Платонову, который смотрит на этого щенка. Смотрит каким-то очень странным способом, видит его каким-то особым зрением – не ощущая никакой разницы между ним и собой, кроме разницы в удобстве туловищ. У щенка туловище неудобное. Неудобное для чего? Для того, чтобы что-то «сделать в таком состоянии». А что, собственно говоря, должен делать Филька? Он должен пользоваться «инструментом». Каким, с какой целью? У Фильки нет «ни бумаги, ни пера!!». Об *этих* – писательских – инструментах идет речь. То есть щенку чрезвычайно трудно делать то же самое, что делает, находясь в удобном для этого туловище, писатель Платонов. Щенок не может взять перо и писать им по бумаге. Но почему щенок Филька должен писать?! Почему в нем вообще должна подозреваться (или прозреваться) такая способность? Потому что – *tat tvam asi*. Потому что – всепроникающий дух. И потому что в «живом туловище» Платонова этот дух обладает неизбежным индивидуальным свойством, которое заключается в том, что дух постоянно совершает особую земную работу – он мыслит и пишет, и более естественной работы в любом другом туловище – пусть даже и щенка Фильки – он для себя не представляет, хотя явственно видит себя в щенке. «Этот Атман, скрытый во всех существах, не проявляется, но острым и тонким рассудком его видят проницательные», – говорит Катха-упанишада.

Люди и животные одни существа: среди животных есть морально даже более высокие существа, чем люди. Не лестница эволюции, а смешение живых существ, общий конгломерат.

Это уже слова Платонова из записной книжки 1939 года, и смысл их таков, что они могли бы беспрепятственно войти в любую из Упанишад.

Комментировать некоторые записи Платонова, не выходя за рамки академического благоразумия, невозможно. В самом деле, способен ли кто-нибудь уверенно объяснить, о чем думал, что чувствовал, что видел и что подразумевал Платонов, когда вписывал в записные книжки такие слова:

Великая старуха руководит миром.
Сторож центра мира (ребенок на бумагах).
Мучение вещества.
Рыбы дышат ветром, останавливающимся в воде.
Для того, кто понимает, – вселенная не существует.

Лучшим комментарием к подобным изречениям была бы, пожалуй, пометка самого же Платонова, сделанная им в записной книжке 1931–1932 годов по неизвестному поводу:

Все это рассказать нельзя – можно только на скрипке сыграть!

Записей, о которых предпочтительней было бы не говорить, а играть на скрипке, в книге немало. К ним можно отнести и те, в которых зафиксированы обособленные образы:

Стерва-белоглазка.
Мальчик-горбун.
Костлявая земля.
Кот, топающий ногами.

Эти записи не комментируются по другой причине – не потому, что комментарий невозможен, а потому, что они обладают такой же художественной самодостаточностью, какая свойственна, скажем, японским хокку:

Мальчик целует свое отображение в стекле.
Идет древний старик и беспрерывно кланяется.
Звезды над темным лесом и белой, снежной землей.
Летчик в воздухе один с машиной, как монах, как святой техники.

Иногда язык в записных книжках достигает у Платонова предельной плотности. И тогда в записях, как в сдавленном веществе, возникает потенция взрыва – развертывания мгновенных образов в рассказы, повести, романы:

> *Старуха 82 лет, ведьма, спит от голода, пьет от голода воду, увидя ребят, детей – вся сияет! Прекрасная, милая жизнь! Возраста нет! А ребята от нее бегут.*

> *Любовь: она на 4 этаже, он снизу.*
> *Он: Плюнь, ну плюнь сюда!*
> *Она плюет.*
> *Он ловит плевок в ладонь и съедает его.*

> *Слепой спит, обняв кошку, всю ночь. Утром ласкает цыпленка, живущего под загнеткой; он пищит от одиночества без слепого.*

> *Баба, которая такая по характеру, что сама себе делает аборты.*

Пожалуй, отдельной исследовательской (а может быть, драматургической или кинематографической) работы заслуживают записи, в которых выражается дух и тональность времени. Это обрывки разговоров, слышанных Платоновым на улице, в трамвае, в пригородном поезде, в учреждениях; это агитки и лозунги; это фрагменты выступлений и отчетов на всевозможных собраниях, – словом, это язык, на котором бредила, вскрикивала и бормотала эпоха, рожавшая страну Советов. Хорошо ли понимал Платонов язык этой роженицы? Был ли он вовлечен в поток той странной речи, которой сопровождалось свирепое и воодушевленное строительство социализма, или он стоял *над* потоком, улавливая все его колебания? Записные книжки не дают ответа и на эти вопросы, хотя в них есть достаточно много записей, которые таят в себе *возможность* ответа, как, например, вот эта запись начала 30-х годов:

> *Лозунг:*
> *«100%-ное участие работников **в торжествах!**» – в час с закуской пришли 12½%. Тогда объявили «бедствие» – пришли 12½%.*
> ***Единый % «действующих».***
> *Что это такое?*

Да, *что это такое?* Что в этом вопросе Платонова –

искреннее желание вникнуть в смысл или обморочное изумление перед торжествующей бессмысленностью слов и знаков?

Другая запись того же времени как будто бы приближает нас к разгадке. Здесь даже чувствуется взгляд Платонова, выражение его лица. Вот он записывает, всматриваясь, вероятно, в газетную статью:

> *«ГЛАВНОЕ теперь Организационно подойти к проблеме некоторого УЛУЧШЕНИЯ». (Смысл весь в шрифте) – помечает в скобках.*

Какой смысл? Смысл чего?

Ясный и мощный смысл вдруг обнаруживается сам собою там, где эпоха замолкает, где лозунги утрачивают свою силу, где говорит живущая вне времени, вне социального строя, обнаженная человеческая природа, – где человек обнажен даже буквально, телесно, как в нижеследующей записи Платонова:

> *Разговор в бане:*
> *«Человек, как хуй – он сбрасывает нечистоты и производит будущее.*
> *Хуй – самое яркое выражение жизни».*

Любил ли Платонов людей и их жизнь? Любил ли он людей так же, как созданные ими машины? Любил ли он вот этого вечного, неистребимого Человека Живущего, которого изобразил в записной книжке 1939 года: «Академия, строгость, наука звания, а он живет кудрявый с гармоникой, поет, пьет, ебет – другой мир, ничего общего и как будто более счастливый». Презирал ли он это немудрствующее счастье? Удивлялся ли ему? Считал ли его высшим даром?

На все эти вопросы можно ответить лишь одно: Платонов выказывал задумчивое внимание, глядя на жизнь человеческого существа, которая при каком-то особом устройстве внутреннего глаза выглядит как явление незнакомое и даже мистическое. Только такое, не смешанное с земной жизнью, ви́дение мира могло порождать слова, которые как будто бы не принадлежат человеку:

Человек – плохое существо, но странно, что он, ничтожный, вдруг представляется значительным в своем каком-либо деянии, и тогда видишь, что через его существо действует что-то другое, ему несоответственное, – это похоже на мистику, но так это нужно понять и объяснить.

И тут же – через пробел – другая запись:

Тупое чувство жизни.

Смешанность взгляда с жизнью. С кудрявым гармонистом, гармоникой, пением… С отупляющим земным счастьем или несчастьем.

Записные книжки Платонова, быть может, в большей степени дают возможность развиться тому преобладающему впечатлению, которое вызывают его художественные творения, – впечатлению, что Платонов это посторонний дух на Земле, постигающий способ жизни в теле, в материи. И все же эти разрозненные записи, собранные в одну книгу, всего лишь обломки, шлейф пролетевшей над миром сокрушительной кометы – прозы Платонова. Принцип жизни этой прозы остается неразгаданным. Неразгаданной остается главная тайна Платонова – тайна его языка, которая является следствием тайны его мышления и устройства души.

Записи Платонова о собственном языке и письме – самые драгоценные в этой книге. Их очень мало. Понять до конца их трудно:

> Сущностью, сухой струею, прямым путем надо писать.
>
> В этом мой новый путь.

Но Платонов и не предполагал, что эти слова кто-то, кроме него, должен понимать. Записные книжки, к которым он относился без всякого трепета, называя их «заготовительными пунктами литературного сырья», не предназначались для печати; они даже не предназначались для дальнейшего хранения. Они должны были исчезнуть из мира, чтобы не умножать его тайны. Но не исчезли, сохранились и теперь обречены существовать.

Сны и ангелы Тютчева

Время, пространство и смерть он называл своими врагами. Рядом с ними Наполеон III, Папа Пий IX, европейские революции, всевозможные политики и министры, поселившиеся в его душе в качестве враждебных образов, должны были бы неизбежно померкнуть. Слишком явственно его душа ощущала в смерти – одухотворяющий ужас, в земном пространстве – «обнаженную бездну», а в будничном потоке времени – «страшное колдовство», перед которым призрачны любые образы и само человеческое *я*. Однако враги не меркли. Ни те, ни другие. В сражении с одними – он обретал поэтические прозрения, приводившие его в состояние будды: *«Бесследно всё – и так легко не быть!»*. В сражении с другими – превращался в яростного политика, одержимого грезой о некоей всемирной греко-славянской империи с «православным Папой» в Риме и русским царем на троне.

Но главная борьба – между небесами и пеклом суеты – шла в сердце, о котором он сказал однажды: *«О, как ты бьешься на пороге/ Как бы двойного бытия!..»* Жестокие конвульсии этой борьбы, продолжавшейся до смертного часа, мало кому были заметны. Да и как их было заметить. Ярко виделось в нем другое – камергер Его Величества, чиновник МИДа, виртуозный публицист, жадный читатель политических новостей, сходивший с ума без свежих газет, неугомонный любовник, сотворивший под старость трех внебрачных детей, признанный «царь острословия», душа светских салонов… И самая загадочная душа русской поэзии. Он ронял стихи – и в переносном и в буквальном смысле. Оставлял их там, где они нечаянно писались – на казенных листах в министерском заседании, на клочках бумаги в бальных залах, на дорожных документах в коляске. Поэзия прорастала в нем сквозь жаркие мысли о Восточном вопросе и политике Бисмарка, струилась рядом с громовыми проклятиями «Иуде Австрийскому эрцгерцогу», расцветала на руинах его политического трактата «Россия и Запад», где сооружалась «доктрина Империи».

Каким-то непостижимым образом в этой душе соединились два существа, принадлежавшие к разным сферам бытия. Но дух поэзии, который ему заслужил в устах Афанасия Фета имя «одного из величайших лириков, существовавших на земле», был почти неприметен в то время, когда на европейских пространствах от Москвы до Мюнхена, от Петербурга до Турина был известен его превосходительство Федор Иванович Тютчев,

Herr Tuttcheff или даже *le baron de Tutchef*, как выразился однажды французский газетчик, приписав ему от избытка восхищения баронский титул.

Первый ангел и последняя рука

Тютчев не был бароном. Но принадлежал к одному из древнейших дворянских семейств своего отечества. Его пращур, герой Никоновской летописи «хитрый муж Захарий Тутчев», посланный в Золотую Орду к Мамаю с дипломатической миссией, словно предначертал в XIV веке карьерный путь далекого потомка. Потомок появился на свет в Орловской губернии в родовом имении Овстуг 23 ноября 1803 года. Рос под присмотром сердобольного дядьки, мужского воплощения духа Великой Няни Писателей, витавшего над дворянскими усадьбами России. Гуляя однажды с дядькой по роще, он и сотворил свое первое произведение. Его вдохновил главный «враг», показавший ему тогда только свою бледную тень. Но и этого было достаточно. Они нашли в траве мертвую горлицу. Впечатление было столь сильным, что дядьке Хлопову пришлось покорно участвовать в бережных похоронах птицы, затеянных баричем. Над ее могилой из уст маленького Феди вдруг вырвался стих, эпитафия – пролетел по овстугской роще ангел поэзии, нечаянно призванный на бой с ангелом смерти.

Позже поэзия призывалась уже под воздействием Горация и наблюдением домашнего учителя – Семена Раича, поэта и переводчика античных авторов. Учитель вскоре нашел способности воспитанника столь развитым, что считал его, по собственному признанию, за равного собеседника и друга. То же самое случилось и с профессорами Московского университета, где Тютчев учился с тринадцати лет.

В восемнадцать – он уже с университетским аттестатом уехал в Петербург. Там поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Но в Петербурге в доме своего родственника графа Остермана-Толстого, славного полководца, потерявшего руку в сражении с французами, он не прожил и пяти месяцев. Произошло событие, которое перевернуло его жизнь. Летом 1822 года легкий на подъем граф, отправляясь за границу, посадил в свою карету юношу Тютчева. На козлах устроился неотлучный дядька Хлопов. И в ту минуту, когда экипаж тронулся в путь, юноша и предположить не мог, что он вернется на жительство в Россию уже убеленный сединами, а для своих современников превратится в «почти иностранца». В старости он скажет об

одноруком графе: «Судьбе угодно было вооружиться последнею рукою Толстого, чтоб переселить меня на чужбину».

Немецкие Афины

Русское посольство в столице Баварского королевства Мюнхене не нуждалось в сверхштатном чиновнике. Но влияние именитого родственника было достаточным, чтобы при миссии появился «новый атташе г-н Федор Тютчев», как его отрекомендовали в депеше петербургскому начальству, посетовав, что занятий для него найдется мало. Однако шефу МИДа Карлу Нессельроде была обещана сердечная забота о прибывшем чиновнике – «чтобы он не зря потерял время».

Время он не терял. Едва начав посольскую службу в Мюнхене, он закружился в водовороте событий и чувств первой любви. Избранницу звали Амалия. Ей было – четырнадцать, когда восемнадцатилетний атташе впервые встретил ее. Очень скоро он увлекся этой красавицей, происходившей из графского рода Лёрхенфельд. Она расцветала на его глазах. И не только он сходил по ней с ума. Был и соперник – секретарь посольства барон Александр Крюденер, метивший в мужья. Тютчеву грозила дуэль с ним, и было не до посольских депеш. А между тем встревоженный дядька Хлопов едва успевал слать свои депеши матушке барина – Екатерине Львовне. И среди прочих жалоб докладывал, что Федя, мол, обменялся с барышней цепочками – отдал ей золотую, а она ему – только шелковую. Амалия вернула долг чистым золотом поэзии. Русская литература обязана ей знаменитыми тютчевскими шедеврами – «Я помню время золотое…» и «Я встретил вас…» С баронессой Амалией Крюденер (она все-таки вышла замуж за соперника) у него было немало встреч на протяжении жизни, но первая, обернувшаяся бурным романом, сроднила его с чужбиной.

Островок отечества, состоявший из икон дядьки Хлопова, его хозяйствования на московский манер и заботливых причитаний на русском, вскоре исчез. Дядька через три года, поехав с барином в отпуск, умер в России. А Тютчев, вернувшись в Мюнхен на службу, женился на баварской аристократке, вдове Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. У нее были три сына от первого брака и она была старше Тютчева на четыре года. Но это была счастливая семья. У них родились три дочери. Элеонора любила мужа самозабвенно – боготворила своего Теодора, как она называла его. Теодор же блистал в баварской столице, которую просвещенный король Людвиг I превратил, по словам

современников, в Немецкие Афины, покровительствуя ученым, философам и писателям. Именно в этом кругу Тютчев снискал себе репутацию умнейшего человека. Русские путешественники, приезжавшие в Мюнхен, немало удивлялись, когда находили второго секретаря посольства (такова была теперь его должность) гуляющим под аркадами Королевского сада со знаменитым философом Фридрихом Шеллингом, который говорил о нем, что «это превосходнейший и очень образованный человек». И еще более удивлялись, когда узнавали, что квартира Тютчевых на Karolinenplatz – известный в Мюнхене салон, где завсегдатай – Генрих Гейне, называющий Тютчева «мой лучший друг».

Но кем был в это время сам Тютчев? Он переводил на русский стихи Гейне, а заодно и короля Людвига, часами вел философские споры с Шеллингом, покорял своими познаниями филолога Фридриха Триша. Да еще составлял служебные депеши, где положение дел в европейских монархиях иногда рисовал в таких неуместных сказочных выражениях – «злая фея», «благодетельные чары», «пагубное колдовство», – что глава миссии князь Григорий Гагарин не рисковал отправлять в Петербург эти посольские творения, мягко называя их «недостаточно серьезными».

О других творениях дипломата не знали ни в немецких Афинах, ни в русских столицах. Другие творения принадлежали неразличимому существу, которое жило мгновенными озарениями и возносилось туда, где *«Мотылька полет незримый…/ Слышен в воздухе ночном…/ Час тоски невыразимой!../ Всё во мне и я во всем!..»* И где нужно было иметь особое зрение, чтоб не ослепнуть от увиденных картин: *«Когда пробьет последний час природы,/ Состав частей разрушится земных:/ Все зримое опять покроют воды,/ И Божий лик изобразится в них!»*

Мадонна Мефистофеля

«К стихам я питаю отвращение, в особенности к своим», – повторял Тютчев. И это не было позой – это было драмой. Он словно мстил горьким презрением ангелу поэзии за минуты содрогания, вызванные стремительными взлетами – «*Как бы эфирною струею/ По жилам небо протекло!*» – и столь же стремительными падениями в «*утомительные сны*», в действительность, где «*не дано ничтожной пыли/ Дышать божественным огнем*». Следы этого дыхания – стихи – он называл побрякушками и ненужными пустяками. И поступал с ними, как с

хламом. Однажды, вернувшись в Мюнхен из служебной поездки в Грецию, принялся наводить порядок в бумагах, и уничтожил «накопившийся ворох» – бóльшую часть «вирш», написанных за десять лет. Это случилось незадолго до того, как о безвестном поэте, живущем в Баварском королевстве, узнал Пушкин, который уже находился на пороге дуэльных событий.

Племянник посла князь Иван Гагарин, мюнхенский друг Тютчева, несколько лет служивший вместе с ним при миссии и одиноко ценивший его поэзию, был удивлен и раздосадован, когда летом 1836 года, вернувшись в Россию, убедился, что имя Тютчева как поэта и здесь пустой звук, хотя стихи его и печатались стараниями друзей в некоторых журналах. В письме он попросил его прислать с оказией рукописи. Безучастие к написанным «виршам», вероятно, взяло бы в Тютчеве верх, если бы не случилась особенная оказия – первая любовь, незабвенная Амалия Крюденер, ехавшая с мужем в Петербург. Она-то и доставила туда рукописи стихов с характерным распоряжением Тютчева: «Делайте с ними, что хотите… они ваша собственность». Гагарин передал их князю Вяземскому. Вскоре зашел к нему в гости и обнаружил, что князь вместе с поэтом Жуковским читает сочинения Тютчева. Оба – в полном восхищении. На следующий же день тютчевские стихи уже читал Пушкин. Очевидцы его реакции утверждают, что он пришел в неописуемый восторг – «носился» с рукописями «целую неделю». В ближайшем номере своего «Современника» Пушкин опубликовал внушительное собрание произведений Тютчева под заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Публикации за подписью «Ф. Т.» продолжали появляться в знаменитом на всю Россию «Современнике» и после гибели Пушкина. Но происходило нечто удивительное: не происходило ничего. Не было ни критических статей, ни признания публики. Тютчев оставался в России не более известным поэтом, чем в Баварии, где события тем временем развивались в его жизни ярко и катастрофично.

На маскарадном балу в Мюнхене он знакомится с баронессой Эрнестиной Дёрнберг, дочерью баварского посланника в Париже барона Пфеффеля. Взрыв обоюдной страсти последовал незамедлительно. Эрнестина была женщиной не просто обворожительной, но мистически обворожительной. Русский интеллектуал-путешественник Александр Тургенев, которому она в это же время, как он записал в дневнике, «зашибла сердце», называл ее Мадонна Мефистофеля. Нечто мефистофельское проявилось с первых же шагов этого романа. Муж «мадонны» барон Дёрнберг, почувствовав на одном из светских раутов, недомогание, уезжает домой с галантными словами,

обращенными к кавалеру Тютчеву: «Поручаю вам мою жену». Слова оборачиваются пророчеством. Через несколько дней барон умирает от тифа. Двадцатитрехлетняя вдова становится тайной любовницей Тютчева. Но тайна открывается так громко, что эхо долетает – до министерских кабинетов Петербурга. Известие о романе дипломата и вдовы проносится по Мюнхену вместе со слухами о ее беременности. Жену Тютчева Элеонору это приводит в состояние сильнейшего аффекта. Она несколько раз вонзает в грудь кинжал. Истекая кровью, выходит из дома, бежит по улицам Мюнхена… После попытки самоубийства Элеонора сутки находится между жизнью и смертью. Ее спасли. Но загасить скандал в обществе и страсть в сердце Тютчева было непросто. Не только жена писала письма его родным в Россию, внушая им, что Теодора спасет только водворение с семьей на родине. Но и посланнику Гагарину пришлось отправлять министру Нессельроде срочные депеши, обрисовывая «пагубно-ложное» положение Тютчева и умоляя «извлечь его отсюда».

Его «извлекли» на три месяца. Из отпуска, проведенного на родине, Тютчев возвращался осенью 1837 года с парадоксальным чувством, которое он выразил в словах «ностальгия по чужбине». Жену с детьми он оставил в России до своего обустройства на новом месте – в столице Сардинского королевства Турине, куда он был назначен старшим секретарем посольства.

Тени и призраки

О пожаре на пароходе «Николай I» Тютчев узнал июньским полднем 1838 года, сидя в своем посольском кабинете в Турине. Газеты сообщали, что судно сгорело ночью в море, сев на мель недалеко от Любека. Тютчеву было известно, что на этом пароходе к нему возвращались из Петербурга его жена и дочери. Ужас затмил в нем все впечатления от недавних романтических свиданий в Италии с баронессой Эрнестиной Дёрнберг, с которой он печально простился в Генуе, готовый вернуться к прежней семейной жизни.

Когда, примчавшись в Германию, он узнал, что жена и дочери живы, он испытал острое ощущение счастья и покоя. Благодарил Бога и еще больше – жену, которая в давке и панике сумела спасти себя и детей. Цену этого спасения судьба открыла через три месяца. Нервное потрясение от пережитой катастрофы обернулось для Элеоноры тяжелой болезнью. Она умерла в Турине на руках у Тютчева. За несколько часов у гроба жены он поседел. С этого времени в своих письмах он беспрестанно

повторял в различных словах две незыблемые формулы. Смерть – ужасна. Жизнь – сон. Жуковский нашел его в этом сне через месяц после похорон жены в полном разладе с внешними образами. «Горе и воображение», – описал он его состояние. На следующий день, когда они катались на пароходе по озеру Комо на севере Италии, Тютчев, глядя в сторону Альп, с тоскою сказал: «За этими горами Германия». Жуковский правильно понял эти слова и поразился: «Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене».

Он не только горевал о жене, но и продолжал любить ее – писал, обращаясь к ней, спустя многие годы: *«Еще томлюсь тоской желаний,/ Еще стремлюсь к тебе душой»*. Это было одно из свойств его странного существа. Любимая женщина оставалась любимой навсегда, даже когда он влюблялся в другую. Непостоянство соединялось в нем с парадоксальной преданностью. Ни один драгоценный образ он не уступал разрушительному потоку времени, превращающему жизнь в сон. Такова была воля ангела поэзии.

За горами, в Германии он очутился очень скоро. Весной 1839 года, будучи уже главой миссии в Турине, он обращается к Нессельроде с просьбой дать разрешение на второй брак и на отпуск. Брак министр разрешил. В отпуске отказал. Но Тютчева это не остановило. Он запер посольство на ключ и покинул Турин вместе с баронессой Дёрнберг, приехавшей к нему из Германии. После путешествия по Италии и Швейцарии они обвенчались. Мадонна Мефистофеля, с которой он год назад распрощался в Генуе, стала Эрнестиной Федоровной Тютчевой. Она дожила с ним до его смерти в браке, полном драматических событий. Одно из них – крушение карьеры – не заставило себя ждать. Самовольное оставление государственного поста повлекло отстранение от службы и лишение камергерского звания. Но Тютчев был счастлив. Он был с любимой женщиной и снова – в «родном Мюнхене», где русское правительство позволило ему оставаться в качестве частного лица.

В Россию после двадцати двух лет жизни за границей он возвращался в 1844 году, чувствуя себя, как он выразился, «присяжным туристом». Жену он шутя пугал пространствами «скифской равнины». Но страх охватил его самого. На родине он вдруг с необыкновенной силой ощутил «власть недуга, именуемого временем». Он увидел «сморщенные, поблекшие лица и беззубые рты» университетских друзей, учителей, родных, которые перед ним «всплывали как призраки». Увидел – «как во сне» – свой старый московский дом. Все предстало «неузнаваемым от разрушений времени». Он был потрясен. Не

уставая, повторял: «Что за ужас! Какое отвратительное колдовство!» Родовое гнездо Овстуг он и вовсе назвал «царством теней». Но призраки, по его выражению, «мало-помалу снова приняли обличье и оттенки действительности».

В петербургском свете Тютчев заблистал так же ослепительно, как некогда в мюнхенском. Князь Вяземский, назвавший его львом сезона, ошибался. Он стал львом эпохи – неугасимой звездой аристократических салонов Северной столицы, где всерьез помышляли издать собрание его острот. Скоро были налажены связи с императорским двором и сановниками. Ему возвратили камергерское звание и назначили чиновником особых поручений при государственном канцлере, а позднее и председателем Комитета иностранной цензуры. «Наше положение в обществе таково, – писала жена в Германию, – что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы».

Только один призрак не принимал обличия и находился за пределами действительности. К нему обращал мольбы камергер и статский советник, окруженный почетом и блеском светской славы: *«Лишь ты, волшебный призрак мой,/ Лишь ты не покидай меня!..»*

Крушение империи

Когда известный поэт Некрасов вдруг взялся восхищенно разбирать в статье «Русские второстепенные поэты» стихи некоего «г-на Ф. Т.», опубликованные полтора десятка лет назад в пушкинском «Современнике», господин этот жил на расстоянии пешей прогулки от него и даже мог, полагают биографы, встречаться с ним в петербургских гостиных. Но «волшебный призрак» поэзии, обитавший в его превосходительстве, оставался до такой степени неразличимым, что Некрасов строил догадки об авторе стихов как о покойном. Он доказывал на основании различных умозаключений, что «автор их был русский», уверял, что «имя его навсегда останется в памяти» и сожалел, что «поэтическая деятельность г-на Ф. Т. продолжалась только пять лет».

Раздвоенность к этому времени достигла в Тютчеве апогея. Поэтические озарения обрели ту предельную степень яркости, при которой вещественный мир виделся как *«Покров, накинутый над бездной»*, а личность как иллюзия: *«О, нашей мысли обольщенье,/ Ты, человеческое Я»*.

Но чем ярче становились озарения, тем отчаяннее, словно скрываясь от их ослепительного света, он погружался в злобу дня

– в политику. Одну за другой он пишет в конце 40-х годов статьи на французском языке – «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и Римский вопрос». Они печатаются в форме писем в газетах и журналах Европы. С ней он и ведет политическую борьбу за «христианскую империю Россию», которая противостоит «крестовому походу безбожия, предпринятому Революцией». Статьи эти были только видимой частью айсберга – они входили в состав задуманного грандиозного трактата «Россия и Запад», который он принялся писать, по свидетельству жены, с убежденностью, что «мир обрушится, если он не напишет труд». Россия здесь уже превращалась в «окончательную империю» – наследницу всех империй мира, от Ассирийской до Византийской. Помимо «славянского племени», она уже включала в себя как «имперские земли» Италию и Германию. Она заполняла его сознание. И, наконец, однажды явилась ему в видении среди белого дня. Он стоял в Кремле на площади. Ждал выхода царя из собора. И вдруг с ним случилось то, что случалось часто. «Меня вдруг вновь охватило чувство сна», – писал он жене. Ему «пригрезилось», что «Великая империя основана…»

Из всех его снов политика была – самым лихорадочным. Он не мог и двух недель прожить в деревне. Нервная потребность, которую он испытывал в политических новостях, беседах, газетах доходила до того, что он просто обижался на мир, когда мир не мог сообщить ему никаких известий. «Бедняга угнетен мертвым штилем, – писала жена, – и я бы хотела ради него, чтобы в мире политики произошло какое-нибудь событие». Старшая дочь Анна обрисовала картину еще более поразительную. Это случилось во время Крымской войны, когда англо-французский флот, демонстрируя силу, стоял в Кронштадте. Тютчев обрушивал на противников стихотворные и устные тирады. Вооружившись подзорной трубой, он поехал с дочерью в Ораниенбаум смотреть на вражеские корабли, угрожающие Петербургу. Но вот угроза исчезает на глазах. «Флот покидает Кронштадт, – писала Анна сестре Дарье, – Папá, который находился здесь только ради впечатлений, считает, что его обкрадывают».

В письме к брату барону Карлу Пфеффелю, который восхищался публицисткой Тютчева, Эрнестина Федоровна сообщила в 1850 году, что муж вдруг забросил трактат «Россия и Запад» так же поспешно, как и начал. Тогда она еще не знала истинную причину крушения труда. Летом этого года в жизнь Тютчева ворвалась, затмевая сны об империи, яркая комета – новая и последняя любовь. Это была двадцатичетырехлетняя воспитанница Смольного института Елена Александровна

Денисьева – Леля, как он ее назвал.

Исход ангела

В Смольном институте учились дочери Тютчева – будущие фрейлины двора Анна и Дарья. Навещая их, он и познакомился с Денисьевой. Ее тетка была инспектрисой института. Она руководила классом его дочерей. Племянница жила вместе с ней в институтских апартаментах, куда Тютчев захаживал для беседы за чаем.

Он увлекся Лелей полушутя. Жена поначалу даже поощряла это увлечение, полагая, что оно отведет от него других соперниц – львиц большого света. Денисьева соперницей не представлялась. Она была полусиротой, рано потерявшей мать. Отец – отставной майор – безвестно жил в провинции. Но душа Лели обладала той способностью к взрывной страсти, которая таилась в самом Тютчеве.

В июльский день, который он потом назвал *«блаженно-роковым»,* она ответила на его легкую влюбленность безоглядной и самозабвенной любовью. Родственные свойства их душ открылись вполне. *«Буйная слепость страстей»* охватила Тютчева в такой же степени, как и Лелю. В то же время его поэтическое существо, как никогда раньше, обнаружило свое присутствие в мире действительности. Из тютчевской поэзии, относящейся к этому периоду, исчезают зарифмованные политические манифесты и тирады. Любовь, смерть, судьба, «древний хаос» мироздания, сновидческая природа бытия, тайна времени и пространства, – все, что входило в состав его вдохновения, ангел поэзии соединил и выразил в этой точке земного пути камергера.

Сами события действительности были проникнуты поэтическим безрассудством. Для любовных свиданий с Денисьевой Тютчев нанимает квартиру неподалеку от Смольного института. Но весной 1851 года, незадолго до выпускных торжеств, после которых Леля должна была стать фрейлиной двора, приметливый институтский эконом выследил ее. Тайная квартира была обнаружена, имена любовников – разглашены. В петербургском свете, как некогда в мюнхенском, разразился грандиозный скандал. Однако все презрение обрушилось только на Лелю – его свет ценил слишком ревностно.

В ту же весну Денисьева родила первого ребенка от Тютчева – дочь Елену. С этого времени семейная жизнь Тютчева раздвоилась, словно отображая глубинную раздвоенность всего его существа.

Он не порывал со своей законной семьей. Как и прежде, он жил с Эрнестиной Федоровной на Невском проспекте. И продолжал любить жену («милую кисаньку» его писем), тосковал по ней, сходил с ума во время разлук, писал ей стихи, исполненные обожания. Но в другом доме, в другой семье, где впоследствии появились два сына, были тоже – и любовь, и обожание. Впрочем, к любви Денисьевой примешивалась религиозная экзальтация. Она считала себя его истинной женой – «от Бога». Страдала, что не может владеть им безраздельно и возмещала эту невозможность по-своему. Временами создавалась полная иллюзия законного брака. Лето и осень Денисьева нередко проводила вместе с ним за границей. В отелях во время этих поездок она подписывалась: *M-r et m-me Tutcheff* (Г-н и г-жа Тютчевы). Детей регистрировала в церкви под его фамилией, хотя никаких родовых прав им это не давало. Она своеобразно относилась к его стихам – жадно ценила только те, которые были посвящены ей: «Денисьевский цикл», как потом назовут их литературоведы.

В течение четырнадцати лет Эрнестина Федоровна стоически переносила драму этой *«убийственной любви»*. Она дольше обычного оставалась в деревне, чаще уезжала за границу. Позволяла себе только грустную иронию. Чаровник – дала она мужу прозвище. Да еще сожгла все свои письма к нему.

Драма завершилась трагически. Летом 1864 года в Петербурге Денисьева умерла от чахотки на руках у Тютчева, видевшего ее агонию. Это был час, когда ангел смерти показал ему всю свою силу. «Что это такое? Что случилось? – писал он. – Во мне всё убито: мысль, чувство, память, всё…» По свидетельству его родных, отчаяние довело его до состояния, близкого к помешательству. Меньше, чем через год, в один и тот же майский день умерли дети Денисьевой и Тютчева: четырнадцатилетняя дочь и младенец сын. Другие утраты – дочери Марии и сына Дмитрия, рожденных в браке с Эрнестиной Федоровной, любимого брата Николая, матери – приводили его уже не в отчаяние, а в состояние душевного оцепенения: «В моем существе сокрушено чувство бунта против смерти».

Политика в последние годы жизни стала занимать его все больше и больше. Враги «греко-славянской империи» нахлынули в душу спасительным войском. Но как и прежде ангел его поэзии, продолжал «дышать божественным огнем», пока однажды не покинул камергера, оставив его наедине с действительностью.

Это случилось в период его предсмертной болезни, начавшейся в декабре 1872 года. Жена заметила, что Тютчев вынашивает какой-то стих. Наконец он начал диктовать его. Стих

был о Наполеоне III. Но впервые в жизни Тютчеву не подчинялись ни рифмы, ни размер, хотя ум его был абсолютно ясен. Ясность ума не уменьшалась, а стремительно нарастала с приближением смерти, последовавшей 19 мая 1873 года. Всякий раз, приходя в сознание после обмороков, он требовал немедленно сообщить ему последние известия, пускался в виртуозные политические беседы и сыпал блистательными остротами.

Разногласия Матфея и Луки

«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». (Матф. 4, 18–20)

Ну как же так? Они были рыболовы. Они были заняты делом, простым и понятным, весьма полезным и даже, быть может, для них приятным. У них была своя лодка и сети. Была своя тихая затаенная радость (все рыболовы мирно помешаны) качаться с рассвета и до заката на волнах Галилейского моря – Тивериадского озера. Торговцы, приходившие в полдень к озеру – кто с корзинами, кто с лотками, – бойко кричали им с берега: – Эй, Симон! Андрей! Хорош ли нынче улов?

Симон с улыбкой вставал в полный рост на корме и гордо показывал самую тучную (брат пододвинул ее ногой), с чешуей, сверкающей ярче динариев кесаря, в два локтя рыбину.

– Не стоит даже ассария!! – кричали торговцы и притворно отворачивались.

Но Симон-то знал, что как только лодка, полная рыбы, двинется к берегу, торговцы в азарте зайдут по колено в воду и будут выкрикивать наперебой, потрясая звонкими кожаными мешочками:

– Сюда, Симон! Сюда, Андрей!

Впрочем, были у них и дни, когда сеть, извлеченная дважды и трижды, и множество раз из вод Галилейского моря, не натягивалась, не вздрагивала от живой, беспокойной тяжести, когда глаза их, утомленные блеском дремотно медлительных волн, не ободрялись видом вскипающего серебра и когда Симону нечем было подразнить с кормы лукавых торговцев, ибо в затхлой водице на дне качающейся лодки сиротливо болталась одна рыбешка длиною в пядень. Но разве в такие дни они предавались унынию, разве они повергались в отчаяние настолько, чтоб бросить и лодку, и сети на берегу Галилейского моря и прочь уйти от него? Нет, они знали, что удача изменчива, а радость жить морем, свободой и собственным делом прочна и постоянна, «ибо они были рыболовы», говорит Матфей.

И вот в такой неудачный для рыболовов Симона и Андрея день проходил близ Галилейского моря Иисус. Он увидел их. Они старательно вымывали сети на берегу, выбирали из них ракушки,

водоросли. За ночь они не поймали ничего, да и ветреный пасмурный день не сулил большого улова. Об этом они и говорили между собой, браня погоду и море. Иисус подошел к ним, тронул пальцами за плечи и того, и другого, и негромко сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И всё. Больше ничего. Они переглянулись, выпустили из рук сети и пошли за Ним, даже не взглянув на свою лодку, переваливавшуюся с боку на бок у берега и капризно скрипевшую уключинами.

Ну как же это могло быть? Взяли и пошли. Всё бросили, всё забыли и по слову пошли за Ним… Необъяснимо и *необъясняемо*. Истинное чудо.

Так у Матфея, самого простодушного и незатейливого из евангелистов.

Евангелист же Лука мудрено и деловито рассеивает это чудо, к описанию чуда же и прибегая, – впрочем, чуда, гораздо более прозаического, театрального, показного, гораздо более, так сказать, нечудесного, чем то, о котором поведал Матфей.

Словом, Лука все *объясняет*.

Согласно Луке, все было не так уж и просто – взяли да и пошли по слову! Нет. Сначала Иисус предложил рыболовам отплыть вместе с ним на лодке на глубину. Они отплыли на вержение камня или на стадию – туда, где обычно Симон рыбачил с Андреем.

Когда же остановились, Он осмотрелся, указал рукою на воду и сказал:

– Вот здесь закиньте сети для лова.

Симон, как видно, даже вспылил, отвечая Иисусу.

– Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, – обиженно возразил он.

Однако, несколько успокоившись, рассудительно добавил, что если Иисусу угодно, то он, Симон, закинет по Его слову сеть. И тут же закинул ее. И что же! Рыбы наловили столько, что ею наполнили две лодки, да так, «что они начали тонуть», восторженно уточняет Лука. И такое было количество рыбы, – повествует евангелист, – что бедный Симон припал к коленям Иисуса, умоляя Его уйти немедленно, «ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных».

И вот только после свершения *этого* чуда, Иисус сделал то, что чудом уже и не выглядит. После этого Он призвал Симона, сказав ему: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков». Но Он мог бы и не говорить этих возвышенно-таинственных слов, ибо на Симона и Андрея чудесный улов произвел такое впечатление, что они и без всяких дальнейших слов – не по *слову*, но в силу *вида*

совершенного чуда – решились бы на то, на что они и решились: «Вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним».

Так у Луки.

Так развенчано пышным чудом великое чудо, скромно и кротко описанное Матфеем, которого Лука, должно быть, не раз упрекал за то, что тот пренебрег изображением чудесного улова.

– Ах, Лука, – отвечал, должно быть, на эти упреки Матфей, – за Ним была Истина и Он был достаточно ею проникнут, чтоб призвать одним только Словом.

– Нет, Матфей, нет! – возражал Лука. – Чудо должно быть ярким и зримым!

…Разговаривая так, они стояли на том самом месте, где Иисус призвал Симона и Андрея. Время от времени, прерывая спор, евангелисты прохаживались в раздумьях, заложив руки за спину и ничего не замечая вокруг – Лука не замечал, что Матфей расхаживает по воде, как по суше, – не замечал этого и сам Матфей…

Два ожерелья

Первая ставка в этой беспримерно азартной игре была достаточно скромной – жемчужное ожерелье. Его поставил на кон царь Западных земель Индии Юдхиштхира, принадлежавший к роду пандавов. Юдхиштхиру вызвал на игру в кости его двоюродный брат из рода кауравов, царь Дурьйодхана, владевший Восточными землями Индии. Именно вызвал, как вызывают на дуэль. Отказаться от игры в кости, если последовал вызов, в Древней Индии считалось бесчестьем для всякого кшатрия, представителя касты воинов и правителей. Юдхиштхира был истинным кшатрием.

Принимая вызов, он превосходно знал, что в какой бы то ни было игре для него нет более опасного противника, чем Дурьйодхана, потому что Дурьйодхана злобно его ненавидит; Дурьйодхана завидует его несметным богатствам и ослепительной роскоши его чудесных дворцов в Индрапрастхе, столице пандавов (современном Дели); Дурьйодхана считает несправедливым раздел наследственного царства на Восточное, доставшееся ста братьям кауравам, и Западное, где властвуют всего пять братьев пандавов во главе с Юдхиштхирой. Знал Юдхиштхира и то, что его двоюродный брат Дурьйодхана мечтает владеть безраздельно всем царством. И, наконец, царю пандавов было известно самое главное – что у Дурьйодханы есть дядя по имени Шакуни и что во всей стране Бхаратов – Индии – нельзя найти игрока в кости, равного этому коварному дядюшке, который столь же ловок, сколь и нечист на руку. Играть предстояло именно с ним. Дурьйодхана же будет только делать ставки. Таковы были условия игры. Юдхиштхира согласился на них.

И игра пошла.

Она происходила в Хастинапуре, столице кауравов (в ста километрах к северо-востоку от нынешнего Дели), при огромном стечении народа в обширном Дворце собраний, специально построенном для этой игры в XII веке до Р. Х.

Дурьйодхану ничуть не смущало то обстоятельство, что первая ставка – жемчужное ожерелье – была чересчур умеренной, чтоб назвать ее царской. Ведь и он, Дурьйодхана, знал кое-что сокровенное о своем двоюродном брате, царе Юдхиштхире. Он знал, что мудрый, доблестный и беспорочный царь подвластен лишь одному пороку – дьявольскому азарту, помрачавшему временами его рассудок.

И главная ставка Дурьйодханы – ставка на азарт – сыграла.

Уже через минуту-другую, когда ожерелье было выиграно Дурьйодханой благодаря искусному жульничеству дядюшки Шакуни, Юдхиштхира сам предложил противникам сыграть не на мелочь, а «делая тысячные ставки».

И игра пошла на тысячные ставки.

Пошли на кон сто кувшинов – по тысяче золотых монет в каждом. За ними – царская колесница, «победоносная и священная». За колесницей – тысяча боевых слонов, «с золотыми подпругами». И все это выиграл в пользу любимого племянника Дурьйодханы ловкий Шакуни. Но Юдхиштхира уже не мог остановиться. Азарт толкал его в пропасть. Азарт неумолимо втягивал его в великую игру.

И великая игра пошла.

Кости зловеще плясали на мраморном столике. Они останавливались лишь на мгновение в ожидании новой ставки. И головокружительные ставки следовали одна за другой. Сто тысяч рабынь, «юных и дивно-прекрасных», поставленных Юдхиштхирой на кон, уже не принадлежали ему. Уже не был он властелином ста тысяч рабов, «почтительных и благосклонных», взятых с кона одним броском. Уже не он распоряжался бесчисленными колесницами, слонами, конями, воинами и всею казною царства пандавов. Но у царя оставалось то, что мог поставить на кон только царь. И он поставил: город Индрапрастху и всю страну пандавов вместе с ее достоянием и всеми людьми, ее населяющими, исключая брахманов – членов высшей касты, владеющих небесным знанием Вед и никому на Земле не подвластных.

Весть об этой грандиозной ставке повергла в оцепенение многотысячную толпу во Дворце собраний. В глубокой тишине Шакуни бросил кости. И после его броска возглас неистового ликования прокатился по стану кауравов.

– Царство пандавов проиграно! У Юдхиштхиры больше нет ставок! – слышалось ото всюду.

Но тот, кто выкрикивал это, плохо знал Юдхиштхиру – самого азартного игрока в мировой истории. Да, у него не оставалось ставок для великой игры. Но были ставки для – роковой.

И они были сделаны.

Одного за другим Юдхиштхира поставил на кон своих братьев – царевичей Накулу, Сахадеву, Бхимасену и Арджуну.

Когда же он и их проиграл кауравам, каждого превратив в раба, Шакуни невозмутимо спросил у него:

– Скажи, о царь, есть ли у тебя еще богатство, которое не проиграно?

На это Юдхиштхира, не задумываясь, ответил:

– Я сам.

И сыграл на себя самого.

Ставка была проиграна. Царя Юдхиштхиры отныне не существовало – был раб Юдхиштхира. Но и раб еще мог играть.

Последняя ставка этого раба предрешила исход игры.

Рабу предложили вернуть свое царское достоинство.

– Есть ведь еще милая тебе царица, – вкрадчиво напомнил ему Шакуни, – единственная пока еще не проигранная ставка. Поставь Кришну… Ею ты вновь отыграешь себя.

Царицу Кришну, или Драупади, как еще называет эпос «Махабхарата» общую супругу пяти братьев пандавов, Юдхиштхира поставил-таки на кон. Проигранную царицу кауравы насильно привели во Дворец собраний. Ее раздели донага, протащили за волосы через толпы зрителей, – царь Дурьйодхана, глумясь, выставлял перед ней свои обнаженные члены… Это было бесчестье, которого не могли простить ни раб, ни царь. Игра должна была продолжиться.

И она продолжилась.

Ее последним раундом была жесточайшая братоубийственная битва на Поле Куру, разразившаяся через четырнадцать лет, после того, как пандавы вновь обрели право на проигранное царство и свободу. Битва длилась, как повествует эпос, в историчности которого не сомневаются исследователи, восемнадцать дней. В нее были втянуты все народы и царства полуострова Индостан. Из огромного войска кауравов в живых осталось только три человека. В стане пандавов уцелели лишь царица Кришна, царь Юдхиштхира, его четыре брата да еще один воин…

Игра была наконец сыграна.

Ее размах был поистине царским, если не сказать сверхчеловеческим. Сверхчеловеческим – с первой же ставки, которая могла показаться скромной кому угодно – рабам, царям, их доблестным воинам, но только не богам. Во всяком случае, бог времени Кала несомненно увидел в ту минуту, когда во Дворце собраний в Хастинапуре была сделана эта первая ставка, сразу два ожерелья: одно из жемчуга, другое – из погребальных костров, зажженных после битвы по приказу Юдхиштхиры вокруг Поля Куру.

Кречинский против бога Вишну

В начале XX века литературный критик Сергей Яблоновский высказал в газете «Русское слово» весьма вызывающее суждение о главных героях пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», карточных игроках Кречинском и Расплюеве:

> «Казалось бы что в них? Оба мошенники. Один побольше, другой поменьше, что они нам? Почему вы, честный и порядочный человек, и в глаза никогда не видевший шулеров, почему вы с таким участием – да, участием, я утверждаю это – следите за треволнениями Кречинского, почему вы ловите себя на том, что вам хочется, чтобы жульничество Кречинского удалось? Почему Расплюев вам родной? А ведь он, несмотря на всю свою вопиющую пакостность, вам родной?»

Теперь, взойдя на некоторую временную вершину, этот вопрос – почему? – можно поставить шире. Почему игроки всех масштабов – от скромного карточного шулера Ихарева, любовно выписанного Гоголем в «Игроках», до таких трагических фигур, как пушкинский Германн и лермонтовский Арбенин – прочно вошли в русскую литературу?

Один из возможных ответов на этот явно философский вопрос состоит в том, что русскую литературу, яростно ценившую всякую искру подлинности, игра привлекала как неизбежная противоположность подлинности, как высшее и крайнее выражение иллюзорности жизни.

«Необоримой майей» называли эту иллюзорность древнеиндийские мудрецы. Они же полагали, что весь мир есть чудотворная и хитросплетенная Игра бога Вишну, который сам является одновременно и Игроком, и Игрой, и Ставкой в Игре. Именно эта трагически величественная Игра, а не игра в картишки, возводилась русскими писателями в «перл создания». Игра, шагнувшая за пределы рулетки, ломберного столика и лавки ростовщика; игра, проникшая в чувства и побуждения; игра, дающая сильные ощущения, иллюзию подлинных радостей и полноты существования; игра возведенная в принцип жизни и поставленная в основе всех проявлений бытия. Не случайно Казарин в лермонтовском «Маскараде» произносит слова, которые будут вечно ласкать и тревожить вездесущий слух бога Вишну:

Что ни толкуй Вольтер или Декарт —
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

Правила игры, примененные к людям, – вот нерв и суть того вселенски драматического и необоримого, как сама майя, явления, которое отразилось в произведениях русской классической литературы об игре. Всепоглощающая Игра. Все прочие игры – с применением фигурок, фишек, костей, жетонов – ее аватары (зримые воплощения), обладающие подчеркнутой яркостью и сообщающие игроку столь же яркие чувства:

«Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества – не знаю, как выразиться», – говорит Алексей Иванович, игрок Достоевского, припоминая знаменательную ночь своего фантастического выигрыша.

Ослепительное отчаяние, лихорадочная радость, упоение властью над поверженным партнером, – а *партнер* – любой человек, с кем вступает игрок в отношения, – холод и трепет сердца, прилив и отлив ощущений – все это мимолетно, без прочности и глубины, но сильнее и ярче, чем будничное чувство действительной жизни. Оттого и образ игрока так впечатляет, оттого в его внешности так резко выражаются и страсть, и торжество, и презрение, и оскорбленное самолюбие, и ледяное спокойствие. А власть его над собою и над людьми потому так сильна, что совладать с фиктивными чувствами несомненно легче. В этих-то особенных чувствах, искусственно вызванных игрой и потому подчиненных уму, невозмутимому генералу на полигоне переживаний, и упражняется дерзкий старатель:

Тут, тут сквозь душу переходит
Страстей и ощущений тьма,
И часто мысль гигантская заводит
Пружину пылкого ума…
И если победишь противника уменьем,
Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем —
Тогда и сам Наполеон
Тебе покажется и жалок и смешон.

Такие слова изрекает трагически гордый игрок Лермонтова. Но вот уже и «пакостный» Расплюев рассуждает в том же духе о Кречинском, восхищаясь его умом:

– Наполеон, говорю, Наполеон! Великий богатырь, маг и

волшебник. Вот объехал так объехал; оболванил человека на веки вечные.

– Нет, ум великая вещь, – уверяет гоголевский Ихарев, – я смотрю на жизнь с совершенно другой точки зрения. Этак прожить и дурак проживет, это не штука; но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому – вот настоящая задача и цель!

– Всё – ум, везде – ум! – восклицает Кречинский. – В свете ум, в любви – ум, в игре – ум! В краже – ум!.. Да, Да! вот оно: вот и философия явилась.

Все подвластно уму игрока. Как маг вызывает он к жизни из пустот, испепеленных игрой, и любовь, и страсть, и вожделение, не являющиеся таковыми.

Вот пишет Германн к Лизавете любовные письма:

> «В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения». Но «эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь! Деньги – вот чего алкала его душа!»

«Я весь тут, весь по горло: денег, просто денег», – говорит Кречинский. И тоже пишет письмо к Лидочке: «Надо такое письмо написать, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь… в истопленной печи дров ищу. А надо, непременно надо… Мой тихий ангел… милый… милый сердцу уголок семьи… нежное созвездие… черт знает какого вздору!..»

В комедии не чувствуется присутствия женщины, – сокрушались в XIX веке критики «Свадьбы Кречинского».

Что женщина для игрока! Пролог к заветным трем картам, мелкая ставка семпелем перед крупной игрой ва-банк, фишка на «чет» или «нечет» перед тем, как двинуть на «зеро»:

> «Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство, – раскидывает Кречинский. – Дело ведено лихо: вчера дано слово, и через десять дней я женат! Делаю, что называется, отличную партию! У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что и говорить! Игра-то какая, игра-то!»

О, игроки, игроки! Они мечтают составить себе счастье в Большой Игре по правилам маленьких игр, уповая на некое автономное, не принадлежащее Небесам, самосущее чудо, разлитое, наподобие Мировой Воли, повсюду, таящееся везде –

хотя бы и в лавке ростовщика или в раскладе карточных фигур, или в цифрах на колесе рулетки. И весь трагизм положения игроков – в этом противоречии между пылкой жаждой счастья, славы, достоинства и ничтожностью, сверхпризрачностью средств, употребляемых для их достижения.

Бредит тремя картами Германн:

> «Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото…»

Горит, накаленный воображением, блистательный ум Кречинского, и череда лучезарных призраков влечет завороженный взгляд:

> «У меня в руках тысяча пятьсот душ – и ведь это полтора миллиона, и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть два миллиона! И выиграю, выиграю наверняка; составлю себе дьявольское состояние, и кончено; покой, дом, дура-жена и тихая почетная старость».

Тешит себя безумной верой в эфемерного бога – в «один оборот колеса» рулетки, который «всё изменит», Алексей Иванович, жаждущий «воскреснуть из мертвых» ценою удачной ставки на rouge или noir[28]:

> «У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с пятнадцатью гульденами!.. Что я теперь? Zero. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока он еще не пропал!»

Предается нежным мечтаниям о будущем счастье Ихарев, лаская «Аделаиду Ивановну», крапленую колоду-труженицу:

> «Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодушка – просто перл!.. Послужи-ка ты мне, душенька… выиграй мне 80 тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю; в Москве закажу».

Но чудо невозможно. Бог отсутствует в фишках маленьких

игр и в бурлении искусственных страстей. И рушатся неизбежно сложные построения, возведенные на хрупких опорах. Три карты Германна, крапленая колода Ихарева, фальшивый бриллиант Кречинского… Роковые атрибуты игры… Причины фатальной гибели сердечно родных нам героев, для которых счастье остается недостижимым. Ибо божественная Игра, – и русские классики знали это не хуже древнеиндийских мудрецов, – божественно же парадоксальна. Согласно правилам величественной иллюзии и безграничного обмана, и бриллианты и страсти должны быть подлинными. Игра не позволяет обманывать Игру. Вишну может обыграть только сам Вишну, или, разве что, Будда, как-то раз обыгравший этого бога под деревом пипала на берегу реки Ниранджара…

Апология беспричинного обмана

Великий французский историк Марк Блок с грустью и негодованием признавал, что к свидетельствам, к этому жизненному эликсиру истории, примешан «вредоносный яд».

Мистификация, фальсификация, подлог – вот разновидности этого яда, которым во все времена угощали историков, так сказать, антиисторики.

К последним Марк Блок относил даже Юлия Цезаря, который в свои знаменитые «Записки о Галльской войне» сознательно вплел множество искаженных и недостоверных фактов. При этом сам Цезарь, надо заметить, всегда оставался в представлении Блока фигурой в высшей степени достоверной. «Нельзя найти что-либо более несокрушимое, – уверял историк, – чем фраза: „Цезарь существовал в действительности, а не являлся плодом фантазии тех, кто описал его жизнь“».

На это, конечно, можно было бы возразить, что достаточной несокрушимостью обладает и такая фраза: «Некоего Цезаря, фантастически развратного и чудовищно алчного полководца, первоначально измыслил в припадке ядовитого задора поэт Катулл, чью выдумку подхватили Светоний, Тацит и Плутарх».

Но серьезный историк никогда бы не принял подобного возражения. В лучшем случае он назвал бы его искренним заблуждением, в худшем – заведомой ложью, в еще худшем – агностицизмом, релятивизмом и прочими укоризненно-научными словами, которыми обозначается род философского недоверия человеческим знаниям. Никакой объективной исторической истины, утверждали проповедники этого недоверия (Шопенгауэр, Ницше, Лев Шестов), не существует. Во всяком случае, познать ее невозможно. Да и не нужно. Ибо истина бесполезна для полноценной жизни в мире – в мире, который, быть может, каждому из нас (и каждому на свой манер) воображается, снится, представляется, настойчиво разворачивается в нашем единственно достоверном сознании, которое причастно божественной воле и потому способно отчетливо сфантазировать даже такой абсурд, как историческое прошлое, якобы без нас существовавшее в некоей автономной действительности.

Ее-то, эту неистово суверенную, ни от кого и ни от чего не зависящую действительность, и обожествлял классический европейский ученый Марк Блок, сочинивший в средине xx столетия свой самый вдохновенный труд: «Апология истории».

«Апология» – значит «защита». «История» – значит «история», «научная дисциплина». Но историк защищал не просто историю.

Он защищал саму возможность достоверного познания прошлого, то есть действительности. Действительности редчайшего свойства – исчезнувшей, призрачной, эфемерной, известной нам лишь по некоторым свидетельствам. Да, но свидетельства всегда «отравлялись ядом».

О «ядах» и «отравителях» Марк Блок поведал в особом разделе своей «Апологии» – «Разоблачение лжи и ошибок». Он нарисовал впечатляющую картину: обманы и подлоги поджидают исследователей на каждом шагу, предлагая их научному вниманию все, что угодно – весьма содержательные письма французской королевы Марии Антуанетты, умело сработанные в xix веке и в знаменитом издании 1864–1883 годов ловко перемешанные (эффективный прием мистификации) с подлинными; чудо искусства III века до Р. Х., великолепную тиару легендарного скифского царя Сайтоферна, любовно изготовленную в 1896 году одесским ювелиром Рухомовским и проданную им после длительных уговоров и переговоров взыскательному, но не скаредному Лувру, выложившему 200 000 франков за редкостную находку; сфабрикованное в 1894 году и вызвавшее в политической жизни всего континента эпидемию лжи, грандиозно скандальное дело французского офицера Альфреда Дрейфуса, будто бы продавшего Германии военные секреты Франции; торжественно представленные Французской академии в 1857 году математиком Мишелем Шалем сенсационные письма Паскаля, в которых он еще до Ньютона сформулировал принцип всемирного тяготения… да и многое другое сформулировал мудрый Паскаль в этих письмах, подделанных по заказу Шаля гениальным фальсификатором Вреном-Люка, чье мошенническое искусство заставляло именитых ученых Европы склоняться в глубоких раздумьях над фальшивыми автографами Пифагора, Александра Македонского и Клеопатры.

Обманам и обманщикам несть числа. Но обманы можно классифицировать (обман в авторстве, в дате, в содержании и т. д.), дать им соответствующую оценку и даже научить исследователя извлекать из них пользу, то есть глубже проникать в «историческую атмосферу», выявляя за обманами политические, экономические, социальные и прочие корыстные цели. Все это Марк Блок и делает обстоятельно, пока речь не заходит о тех странных обманах, которые вызывают у здравомыслящего историка лишь саркастическое изумление. Ибо в этих нелепых обманах, попирающих сам принцип разумности мошеннических действий, обманщики бессмысленно расточают свои таланты и знания. Зачем? Для чего?

Для чего немецкий ученый Альберт Тизенгаузен сочинил на отличном греческом языке «Историю Востока» и приписал ее авторство какому-то фиктивному Санхониатону, тогда как этот недюжинный труд мог бы составить ему при жизни репутацию выдающегося эллиниста? С какой целью крупнейший французский искусствовед Франсуа Ленорман, будучи уже старцем, осыпанным академическими почестями, подобрал где-то на полях Франции несколько обычных мусорных черепков и старательно описал их как греческие древности? Что за диковинная причуда заставляла прославленного английского поэта Томаса Чаттертона упорно выдавать «Бристольскую трагедию», «Эллу» и другие свои сочинения за якобы найденные им рукописи средневекового монаха? Зачем Проспер Мериме выступил в 1827 году мнимым переводчиком с хорватского пригрезившихся ему «Гуслей, или Избранных песен иллирийцев» – произведений славянского народного творчества, в подлинность которых верил еще Пушкин, но уже не верил Марк Блок.

Что ж, строгие историки немилосердно разоблачили и эти возвышенно свободные от всякой практической цели обманы, растерянно назвав их *«беспричинными актами лжи»*.

Да, их разоблачили. Потому что никто не в состоянии защитить от вездесущей достоверности эту тонкую материю – вдохновенную и бескорыстную ложь, или, лучше сказать, священное право на обладание воображаемой действительностью. Разоблачили, развенчали, уличили… Но – слава богу – не объяснили. И значит, все ж таки остается надежда, что беспричинные обманы надежно защищены от посягательств истины самой своей беспричинностью.

Писатель и пространство [29]

Человеку свойственно разделять пространство на части. Об этом свидетельствуют все мифологии мира, в особенности скандинавская, оказавшая влияние на сознание русских в домонгольский период. *Мидгард, Утгард, Ванахейм, Асгард, Хель* – это не просто мифологические локусы, расположенные в разных сторонах света, но это еще и принципиально разные пространства, которые обладают таким устройством, что переход из одного в другое либо опасен, либо невозможен, либо возможен только путем различных превращений и смерти. Обитатель Мидгарда – среднего пространства, обжитого людьми, просто физически не способен обитать в Утгарде, где пространство благоприятно для карликов, великанов и демонов. А этим последним будет невыносим Мидгард или Асгард – мир богов и героев. Однако впоследствии в сознании русских утвердилось вовсе не то ощущение мирового пространства, которое зафиксировано в скандинавских мифах и которое предполагало огороженность, замкнутость, о чем говорит сам скандинавский корень *gard* (огороженный), входящий в состав названий мифологических локусов.

Но прежде, чем установить, какое именно ощущение пространства поселилось на многие века в сознании русских, хочу рассказать небольшую историю. Ее героем был профессор Токийского университета Икуо Камэяма, побывавший у меня в гостях в средине 1990-х годов. Мы говорили о японском искусстве. Я заверял профессора, что поэзия Басё, живопись Утамаро, проза Акутагавы и Кавабаты всегда оказывали на меня очень сильное воздействие. Об этом у нас шла речь. Но в какой-то момент разговор случайно коснулся проблемы спорных территорий на островах Курильского архипелага. До 1875 года архипелагом владела Россия, потом – Япония в обмен на Южный Сахалин, после Второй мировой войны – снова Россия по Сан-Францисскому договору. История длинная и запутанная.

Японский профессор спросил у меня, как *я лично* отношусь к тому, чтобы Россия вернула Японии четыре южных острова из архипелага, которые стали камнем преткновения русско-японской политики.

У меня не было никаких оснований смотреть на этот вопрос с *личной* точки зрения. Я ответил японскому профессору, что в моих мыслях о пространстве Курильские острова никогда не являлись мне на ум. Я также сказал ему, что пространство как феномен чисто политический интересует меня мало. Суждения

русских или японских политиков о пространстве не обладают для меня такой же ценностью, как суждения Канта или Бергсона.

Но если речь идет о моем личном отношении, то меня интересует проблема воздействия различных пространств и территорий на процессы творчества. В связи с этим я тоже задал вопрос японскому профессору. «Как вы считаете, – спросил я, – если бы исторически сложилось так, что Восточной Сибирью владела бы не Россия, а Япония, что произошло бы в сознании японцев? Смогли бы они сочинять лаконичные трехстишия – *хайку*, создавать крохотные скульптурки – *нецке*, любоваться цветущими *сакурами*? Продолжали бы они испытывать то, что в Японии называется *мононо аверэ* – печальное очарование бытия?»

Икуо Камэяма ответил мне вот что: «Большое спасибо. Даже думать о таком гигантском пространстве тяжело. Оно убило бы японскую душу».

Феномен государственного пространства России

То обширное пространство, которое занимала императорская Россия, а затем СССР, впервые в полном объеме было организовано в строгую государственную систему монголами.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить географические карты трех империй – Монгольской, основанной Чингисханом, Российской, основанной Петром I, и Советской, основанной Ульяновым. Образ государства, очерченный этими картами, почти совпадает.

Конечно, Монгольская империя несколько превосходила по размерам Российскую и Советскую. Но именно она вычленила в качестве единого государства, устроенного по принципу тотальной деспотии и жесткого администрирования, ту огромную область мира, которую впоследствии занимали Россия и СССР. Эту область некоторые русские историки (Георгий Вернадский, Эренджен Хара-Даван) называют *монголосферой* или *монгольской ойкуменой*.

После разговора с японским профессором я часто вспоминал один его вопрос – почему русские с такой легкостью относятся к этим необъятным пространствам, способным убивать душу?

Думаю, что ответ на этот вопрос существует.

Одно из главных ощущений, которое русское сознание унаследовало от монголов и от их философии кочевников, это невозмутимое восприятие гигантских пространств.

Именно монголы времен Монгольской империи отличались тем, что без всякого душевного смущения смотрели на

пространство мира. Мало того, они помышляли создать некую универсальную империю на всей поверхности Земли. Ни больше, ни меньше. Уже начиная с Чингисхана верховные правители Монголии называли себя в своих грамотах Императорами Мира. И это был абсолютно осознанный титул. Подразумевались в точном смысле весь мир и все человечество.

Взгляд монголов на пространство был таков, что оно не казалось им непреодолимым, подавляющим, всепоглощающим, роковым. Они спокойно связывали его *ямами* – конно-почтовыми станциями (отсюда русское слово *ямщик*) и свободно перемещались по поверхности планеты. Свои пути они измеряли *уртонами* – расстоянием между двумя ямскими станциями, которое равнялось примерно 30 километрам. При этом горы, реки, пустыни не ощущались ими как серьезные препятствия. 300 *уртонов*, отделяющих побережье Желтого моря от побережья Адриатического моря, они не считали большим расстоянием. Никакое пространство не приводило их в трепет.

Вот выражения, в которых монгольский император Мункэ угрожал французскому королю Людовику IX в своем письме, отправленном из глубин Азии, из столицы Монгольской империи Каракорума:

> Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю Людовику, быть мне послушным… Но если дерзнешь отвергнуть повеление божественное и скажешь, что земля твоя отдаленная, горы непреступные, моря глубокие и нас не боишься, то Всесильный, облегчая трудное и приближая отдаленное, покажет тебе, что мы можем сделать.

Здесь так и напрашивается окончание – *«сделать с пространством»*.

Приблизить отдаленный Париж к Каракоруму силой и проворством монгольской конницы, а затем связать пространство между этими городами прочной сетью ямских станций, по которым передаются, устремляясь в бесконечность, импульсы власти монгольской администрации – эта задача вовсе не казалась ханам трудной или фантастической. В сознании Чингисхана и его потомков-чингизидов существовала не просто идея *Великой Монгольской Империи*, а идея гомогенного мира, в котором стерты существенные различия между Каракорумом, Парижем, Римом, Москвой, Бухарой, Сараем, Веной.

Мир предоставляет монголам все свое пространство, монголы – миру единые правила жизни и безопасность на торговых путях, в городах, на ямских станциях.

Истоки такого мироощущения, при котором возникает стремление создать однородное по устройству пространство Земли в виде некоей универсальной империи, лежат, вероятно, в религии монголов. Их главное божество носило очень простое и всеобъемлющее название: *Монхе-Кеке-Тенгри* – Вечное Синее Небо. Небо было везде, куда перемещались монгольские орды – над Сибирью, над Крымом, над южнорусскими степями, над Карпатами, над Адриатическим побережьем. Пространство находилось под небом, и небо было равно пространству. Однородную империю монголы создавали в подражание однородности неба. Монгольская империя и две ее территориальные наследницы – Российская и Советская – были выстроены так, что их государственное пространство, так же как и небо, не предполагало никакого ограничения.

Не берусь утверждать, что всякий русский писатель задавался вопросом, в каком пространстве ему лучше было бы родиться и писать – в гигантской империи, тяготеющей к небесной однородности и абсолютизму, или в маленьком затерянном королевстве, вроде Королевства Бутан в Гималаях, где указом благодушного короля запрещены политические партии, телевидение и химические удобрения (условия почти идеальные для души и тела).

Но не подлежит сомнению, что в России сознание писателя на протяжении нескольких веков переживает три момента связанных с государственным пространством:

1. Постоянное изменение размеров страны.
2. Непреодолимость пространства, занятого государством.
3. Неопределенность очертания государственных границ.

Всего 100 лет назад самый авторитетный в стране энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона описывал пространства России в таких выражениях:

> Самою восточною точкою России является мыс Дежнев в Беренговом проливе – географические координаты этого мыса до сих пор обстоятельно не определены, а имеющиеся более или менее расходятся между собою.

Вот другая цитата из того же словаря:

> Северная морская граница Российской Империи до сих пор не может быть определена с достаточной точностью, так как на всем ее протяжении многие берега на картах нанесены лишь приблизительно.

Речь идет о границе длинной во множество тысяч километров. Надо заметить, что в энциклопедической статье нет ни малейшей критической ноты по поводу этой тотальной неопределенности параметров государства. Напротив, здесь ощущается привкус гордости или, быть может, веселого отчаяния, которое как бы говорит нам: пространство страны столь обширно, что устанавливать его точные границы и пределы – занятие тщетное и почти бесполезное.

Словарь Брокгауза и Ефрона начал выходить в ту эпоху, когда границы России еще продолжали изменяться в сторону их расширения – до бывших пределов Монгольской империи.

Если применять здесь термины современной космологии, то эта эпоха началась с *Большого Взрыва*, который произошел в *сингулярной точке*, называвшейся Московским княжеством. Взрыв случился в XVI веке – как раз вскоре после того, как окончательно распалась западная часть Монгольской империи – Золотая Орда, в состав которой входила Московская Русь. Расширение восстанавливало именно границы монголосферы. Оно охватило сначала Казанское ханство, потом Астраханское ханство, а затем обнаружились самые показательные последствия Большого Взрыва. Без ведома царя небольшое войско казаков во главе с Ермаком покоряет Сибирь и преподносит Ивану Грозному право на владение огромными территориями к востоку от Урала.

В последующие три века расширение продолжалось безостановочно – во все стороны света. К тому времени, когда Петр I принял в 1721 году титул императора, империя уже достигла невероятных размеров – около 10 миллионов квадратных километров. Но монгольская воля к пространству, утвердившаяся в русском сознании, не иссякала. В царствование Николая I площадь империи уже составляла более 20 миллионов квадратных километров и распространялась на три континента – Европу, Азию и Северную Америку.

Русский писатель и пространство

Одним из первых среди русских писателей, кто испытал на себе весь ужас этого экспоненциального расширения имперского пространства, был Пушкин. Именно он ощутил однажды подвижность и неуловимость государственных границ.

Это случилось в 1829 году в период его поездки в Закавказье, где русская армия под командованием генерала Паскевича вела военные действия против Турции. Пушкин делал путевые заметки, которые опубликовал впоследствии под названием

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». Он был едва ли не единственным русским писателем XIX века, кто никогда не пересекал границу России – царь не выдавал ему разрешения на выезд. И вот, в этой поездке ему представилась возможность не только увидеть край империи, но и перешагнуть за край. Это было для него таким же немыслимым волшебством, как проникновение за линию небесного горизонта.

Двигаясь по Армении в сопровождении казака, он достиг пограничной речки Арпачай, за которой простиралась территория Турции. При виде этой речки Пушкина охватил приступ счастья. Он мог сию же минуту очутиться за пределами империи, в ином пространстве, поскольку речка была мелководной и пересечь ее не составляло труда. Пушкин пишет:

> Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России.

Попытка удалась: он пересек границу. «Я весело въехал в заветную речку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег», – радостно повествует Пушкин.

Но в следующую минуту его охватило отчаяние. Бросок через речку был напрасным. Границу империи только что изменили новейшие приобретения действующей армии, о чем Пушкину, вероятно, сообщил его проводник. «Этот берег, – пишет поэт, – был уже завоеван: я все еще находился в России».

Волшебства не случилось. Граница имперского пространства удалилась, как линия горизонта, подчиненная оптическим эффектам.

Когда мы говорим об отношении русских писателей к пространству, мы должны учитывать, что это отношение всегда было проникнуто резким противоречием. С одной стороны, писательское сознание в России испытывало острую и абсолютно *монгольскую* потребность держать в воображении, в мыслях, в чувствах, в памяти огромные пространства. С другой стороны, это сознание с такой же остротой ощущало совершенно *не монгольский* страх и трепет перед гигантским пространством империи.

Наиболее показательно это противоречие выражено в мироощущении Гоголя и Тютчева.

В гоголевской пьесе «Ревизор» *городничий*, возглавляющий некий уездный городок в центре империи, произносит

знаменательную фразу, которая отражает ключевое представление самого Гоголя о пространстве России:

> Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Хочу сопоставить эту фразу с тем, что произнес перед смертью основатель Монгольской империи Чингисхан, обращаясь к своим сыновьям с завещанием:

> Я завоевал и укрепил для вас царство такой пространной ширины, что из центра его в каждую сторону будет один год пути.

Разумеется, Гоголь не знал этих слов Чингисхана. Текст завещания не был тогда известен в России. Но совпадение поразительное.

Монгольская потребность в пространстве иногда принимала у Гоголя форму болезненных приступов. Один из таких приступов случился с ним в Италии, осенью 1840 года, после переезда из Вены в Рим в комфортабельном дилижансе. Гоголь почувствовал нечто невероятное для любого рационального сознания. Ему показалось, что дорога была слишком короткой; что он слишком быстро очутился в Риме; что пространство между Веной и Римом не обладает достаточной протяженностью; что оно не действует исцеляюще на его нервы. Ему захотелось совсем другого пространства и совсем другой дороги, о чем он говорит в письме из Рима к Погодину:

> О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только.

До Камчатки нужно было бы ехать несколько лет. Но именно такую дорогу, протяженностью в 12 000 километров, и такое пространство, шириною во всю монгольскую ойкумену, вдруг возжелала душа Гоголя.

Я оставляю в стороне рассуждения о том, что Гоголю было бы абсолютно нечего делать на холодном и безлюдном полуострове Камчатка. Но нельзя упустить из виду то предположение, что бесцельное углубление в необозримое пространство есть репетиция смерти, или пути на тот свет. Дорога на Камчатку на

русских перекладных, то есть – от станции к станции со сменой ямщиков и лошадей (как это организовали еще монголы) дает возможность любому путнику раствориться в пространстве до чувства небытия.

Может быть, именно поэтому Гоголь не мог долго находиться и жить в пределах российских пространств. Он любил смотреть на них мысленным взором из Рима, где время от времени на него находили приступы монгольской жажды пространства. Он снимал эти приступы тем, что нанимал проворного *vetturino*[30] и метался в судорожных прогулках по римской Кампанье, поскольку не имел возможности немедленно поехать в Россию и прокатиться с ямщиком по бескрайним степям Евразии.

Но столь же яркими были приступы страха и трепета перед необъятным имперским пространством России. Об этом свидетельствует, помимо писем и многих моментов в биографии Гоголя, включая сюда внезапные и бесцельные выезды за пределы России, его знаменитый фрагмент из «Мертвых душ», который был написан в Италии. Он начинается словами *«Русь! Русь! вижу тебя…»*.

Идеологизированное советское литературоведение находило в этом отрывке чистую гражданскую лирику и никогда не замечало того глубокого, *не монгольского* ужаса, который возникал в душе Гоголя при одной только мысли о российском пространстве. Воображая это пространство в Риме, на Via Felice (ныне Via Sistina), он писал о нем так:

> И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей.

Гоголь, в отличие от Пушкина, множество раз пересекал границу империи. Он даже находился от нее очень далеко, когда писал эти слова. Но, так же, как и Пушкин, он не мог *«вырваться из пределов необъятной России»*. Ее пространство настигало Гоголя и здесь, в Италии, показывая ему свою непреодолимость и *«страшную силу»* – так же, как Пушкину на речке Арпачай.

Еще более острым противоречием было проникнуто отношение Тютчева к пространству России. Тютчев был существом чрезвычайно раздвоенным. Он был чиновником Министерства иностранных дел, профессиональным дипломатом, яростным политиком и в то же время «одним из величайших лириков, существовавших на земле», как сказал о нем Афанасий Фет.

Почти треть своей жизни Тютчев провел в Западной Европе, находясь на посольской службе в Мюнхене и в Турине. Россию он навещал тогда крайне редко. Но когда ему случалось въезжать в

пределы империи, ее надвигающееся пространство повергало его в отчаяние. Посылая письма с русских дорожных станций в Германию своей жене Эрнестине, он писал, что *«погружается в отвратительную, необъятную скифскую равнину»*.

Из его писем видно, что он не переносил гигантских пространств по многим причинам. Пространство заставляло его сомневаться в реальности удаленных предметов. Пространство означало разлуку с излюбленными образами и людьми. Пространство нарушало связи его частного мира.

Но главная причина состояла в том, что Тютчев ставил знак равенства между пространством и смертью. Наряду со смертью, он называл пространство своим *«самым страшным врагом»*.

В отличие от Гоголя, Тютчева нисколько не привлекала репетиция пути на тот свет в виде бесконечно долгой дороги куда-нибудь на Камчатку или к берегам Японского моря. Даже передвижения в пространствах Европы и Европейской части России казались ему невыносимыми. Появление железных дорог он приветствовал в одном из своих писем с лихорадочной надеждой:

> Ах, не ругайте железных дорог! На меня они особенно благотворно действуют, потому что они успокаивают мое воображение касательно самого моего страшного врага – пространства, ненавистного пространства, которое на обычных дорогах топит и погружает в небытие и тело наше и душу.

Итак, пространство – враг. Пространство ненавистно. Пространство погружает душу в небытие. Пространство действует устрашающе на воображение. Тютчев выражает здесь в высшей степени *не монгольское* отношение к пространству. Но что мы видим при этом?

Именно Тютчев, подобно новому Чингисхану, создает в средине XIX века в своем политическом трактате «Россия и Запад», написанном по-французски, самую радикальную и поистине *монгольскую* «доктрину Империи» (*doctrine de l'Emprie*). Эта тютчевская доктрина предполагает расширение российского пространства до невероятных размеров. Воображение Тютчева рисует некую всемирную Универсальную Монархию (*la Monarchie Universalle*), или Окончательную Империю (*l'Empire dufinitif*). Она находится под управлением русского царя и обладает пространствами, которые далеко превосходят историческую монголосферу. Эта сверхимперия, занимающая почти все Северное полушарие Земли, трактуется поэтом как наследница всех империй мира – Ассирийской, Персидской, Македонской,

Римской. Она является единственной законной носительницей самого принципа империи. А Империя, по Тютчеву (так же, как и по Чингисхану), может быть у человечества только одна: «L'Empire est un principe, il ne se partage pas»[31]. Об убийственной силе пространства в трактате, разумеется, не говорится ни слова. Но еще более примечателен другой факт.

Перечисляя *все* империи мира, Тютчев ни разу не упоминает Монгольскую империю, словно ее никогда не существовало на свете.

По какой причине он упускал из виду, вычеркивал из реальности это абсолютно реальное и самое гигантское средневековое государство, обладавшее грозным могуществом?

Трезвый ум историка или литературоведа найдет очень простой ответ на этот вопрос: Тютчев был славянофилом, и потому не мог допустить и мысли о том, что принцип империи Россия унаследовала от Монголии. Но дело обстоит вовсе не так просто, как оно может представиться рациональному сознанию. Тютчев – прежде всего – был русским писателем. А это означает, что великое и страшное монгольское пространство, поглощенное и усвоенное Россией вместе с принципом империи, было для него той особой реальностью, которую желательно видеть и не замечать; которая вдохновляет и угнетает; которая отталкивает и притягивает; которая должна храниться в чувствах и от которой лучше избавиться.

Феномен внутреннего пространства

Это поразительное противоречие в отношении русских писателей к пространству можно прослеживать на протяжении всего XIX и всего XX веков. Однако я хочу лишь коротко очертить новый поворот событий, возникший к XXI веку.

Писательское сознание оказалось в ситуации, когда изменение границ государственного пространства пошло в сторону их сужения. Произошло изменение самого картографического образа страны. Не важно, как называть то пространство, которое возникло в Евразии с распадом СССР, – постимперским, постсоветским или постмонгольским. Важно то, что писательское сознание в России вновь имеет дело с неустойчивостью параметров и размеров государственного пространства.

Какое влияние оказывает эта перманентная неустойчивость на процессы творчества – положительное или отрицательное? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, так же, как на

вопрос, где лучше родиться и писать – в изменчивом пространстве России или в неизменном пространстве Королевства Бутан?

Но две главные современные тенденции, которые возникают под воздействием подвижности пространственных пределов страны, можно отметить.

Первая – состоит в отождествлении своего творческого *я* с государственным пространством. Эта тенденция, как правило, выражается в ностальгии по империи и внешнему имперскому пространству. При этом его сужение воспринимается как серьезная катастрофа, затрагивающая существо писателя и его творческие потенции.

Вторая тенденция состоит в попытке писателя создать свое внутреннее устойчивое пространство, обладающее своей системой координат, которая не зависит от пульсации государственного пространства.

Эта тенденция проявляется на разных уровнях – от личного быта до безличного бытия в моменты создания текстов. Поскольку эти моменты чрезвычайно субъективны и выявляются только в процессе самонаблюдения, то я сошлюсь здесь на собственный опыт.

В Москве, например, в моем рабочем кабинете, с того времени, как 17 лет назад я начал писать, ничего не изменилось. Стены-границы неподвижны. Письменный стол ориентирован на восток. Окно смотрит на юг. За окном через 1000 километров – южнорусские степи, Нижний Дон, где я родился. Что бы я ни писал, первое, что я должен представить, это образ пространства. Я должен представить, где помещается моя мысль или мой вымысел. Так как самые сильные впечатления от пространства связаны у меня со степным югом России, то мои мысли и сны постоянно возвращают меня туда. Движение границ моего внутреннего пространства всегда происходит с севера на юг, независимо от того, куда и как движутся границы государства. За годы жизни на севере, каковым является для меня Москва, я привык воображать пространство действия моих героев южнее себя – в той области мира, которая в разные исторические времена носила разные названия: *Меотида, Скифия, Сарматия, Амазония, Хазария, Дикое Поле, Земля Войска Донского,* ныне – *Ростовская область*…

Привычка к этим пространственным координатам оказывает на меня сильное и не всегда желательное воздействие. Я ощутил это, когда мне случилось достаточно длительное время жить на другом севере – итальянском, в области Венето. Мне было нелегко писать, хотя за окном был прекрасный альпийский

пейзаж. Трудность состояла в том, что я не мог представить (не привык это чувствовать во время работы), что ***южные*** степи России находятся ***северней*** меня – за Альпами, за Австрией, за Румынией, за Черным морем… Это было нарушение некоторого внутреннего метафизического компаса, который я приобрел в Москве.

Но это можно трактовать и как излишнее действие защитной реакции, которая развивается в писательском сознании в ответ на постоянную изменчивость государственного пространства. Реакция состоит в том, что в собственном государстве, где подданными являются образы, чувства, мысли и сны, возникают более прочные привязанности к определенной системе координат, к определенным границам и ориентирам.

Разумеется, эти границы и ориентиры чрезвычайно субъективны. Современный русский поэт Игорь Вишневецкий, живущий в Америке, однажды прислал мне анкету для научного исследования. В ней был такой вопрос: *«Где начинается и где заканчивается Запад для Вас лично?»* При этом пояснялось, что речь идет о самом понятии «западность». Я ответил, что лично для меня Запад вместе с «западностью» начинаются на правом берегу Дона. Таким было мое ощущение с детства. Оставаясь личным, это ощущение, тем не менее, зафиксировано в независимых от меня понятиях, возникших на Нижнем Дону задолго до моего рождения в этой местности. Правый, западный, берег Дона там называли *Крымской стороной*. Это сторона, которая, говоря современным языком, была подвержена влиянию средиземноморской цивилизации. Левый, восточный, берег Дона назвали – *Ногайской стороной.* Эта сторона находилась во власти азиатского образа жизни и мироощущения.

Между прочим, я придерживаюсь здесь не только представлений древних казаков, но и античных географов, которые считали, что граница между Азией и Европой пролегает точно по Танаису (Дону). Но были еще представления древних скандинавов. Их мифы помещали Асгард – верхний мир богов – не *вверху*, а на земле. Он находился в реальной местности – в низовьях Дона. Так говорят скандинавские саги. «Сага об Инглингах» спокойно и рассудительно утверждает, что степное пространство по берегам Дона – это *Великая Свитьод*, Великая Швеция. «С севера, – сообщает Сага, – течет по Швеции река, название которой Танаис». То есть Дон. На его восточных берегах, согласно Саге, находится «страна Асов, столица которой Асгард». Поиски Асгарда продолжаются на Нижнем Дону и по сей день. Существует гипотеза (не вполне научная, но вполне вдохновенная), что Азов – это и есть Асгард, город Асов – Азов

город. Хотя в реальности название Азова происходит от тюркского слова *azak*, что означает «низкое место». Но неизвестно, где пролегает граница между мифом и реальностью. При желании и на Ногайской стороне Дона можно увидеть Запад, Верх и бога Одина. Все зависит от того, из каких представлений исходить, и потому на анкетный вопрос о том, где начитается Запад, было бы невозможно ответить, если бы в нем не прозвучало это очень важное уточнение – «для Вас лично». Момент субъективности в восприятии пространства неизбежен. С личной точки зрения понятия *Запад* и *Восток* имеют для меня гораздо меньшую актуальность, чем понятия *Север* и *Юг*.

Под Севером и Югом я подразумеваю две зоны мира, два глобальных мировых пространства – монголосферу и средиземноморскую ойкумену. Меня всегда завораживала *граница* этих двух миров. Думаю, что эта граница имеет скорее метафизический, чем физический характер. Я не сомневаюсь, что существует какая-то закономерность в том, что античная ойкумена не распространилась дальше Приазовских степей. Но эта закономерность, на мой взгляд, не связана с климатическими, ландшафтными или социально-историческими условиями. Так устроен земной шар. Он не является однородным пространством.

Последним античным городом в северо-восточном направлении от Рима был Танаис, развалины которого были открыты полтора столетия назад в дельте Дона. Но вот что удивительно: с другой стороны, монгольская ойкумена, или монголосфера, которая тоже занимала пол-мира и была не менее активной, зеркально застыла здесь же – в районе города Танаиса, где в Средние века возникла Тана – город-колония Венецианской республики (на территории современного Азова). И хотя монголы однажды и доскакали до Адриатики, совершая бешеную погоню за венгерским королем Белой IV, это было случайное и эпизодическое проникновение. Консулом и послом в Тане был один из аристократов Венеции Якопо Корнаро, которого избрал на этот пост венецианский Большой совет во времена Золотой Орды. Здесь же постоянно находились послы и должностные лица Венецианской республики, которые общались с вельможами монгольских ханов и с самими ханами. Это был интернациональный город, находившийся, так сказать, во власти разных властей. В Тане – вот так, лицом к лицу и пространством к пространству – сходились Италия и Монголия. Примечательно, что и сам город имел сразу два названия: ордынское – Азак и итальянское – Тана. Этот было место, где кончалась средиземноморская и начиналась монгольская вселенная (или наоборот). На границе же находился особый, промежуточный

мир, обладающий ярко выраженной двойственностью.

Возвращаясь к началу нашего разговора о воздействии пространства на душу и сознание, я могу сказать, что лично для меня это воздействие особенно сильно ощущается в таких пограничных зонах, как Донская степь. Ее пограничность не имеет никакого отношения к политической или физической карте мира. Это сверхчувственная граница двух разных вселенных – средиземноморского круга и монголосферы. Именно на Нижнем Дону всегда соприкасались эти две области мира. И здесь происходила некоторая диффузия мировых пространств, по-разному устроенных и по-разному воздействующих на сознание.

В этом двойном воздействии на чувства для меня и заключается самая большая ценность южнорусских степей, которые способны открыть сознанию выход в обе области мира, если сознание, разумеется, не заколдовано границами империй, союзов и ханств.

Дело Бренты

К расследованию дела, в которое впуталась Брента, я приступил не сразу. Поначалу она заинтересовала меня как таковая – как объект природы, вызывающий непосредственные ощущения. Поселившись однажды на ее берегах, у подножия Альп, в городе Бассано дель Граппа (в 70 километрах к северо-западу от Венеции), я лишь изредка развлекал себя мыслью, что Брента – самая русско-литературная речка на Апеннинском полуострове. Гораздо чаще я просто бездумно пользовался ее водно-каменным телом. Отдельная часть этого тела – между Альпами и *Ponte Vecchio* (Старым мостом), сработанным в 1568 году по проекту Палладио – была для меня наиболее привлекательной. Там, недалеко от моста – главного сокровища Бассано дель Граппы – есть порог, где Брента, натыкаясь на огромные валуны, ревет, гудит, разбрасывает в воздухе клочки белой пены. Выглядит это угрожающе. Но по мокрым валунам можно осторожно выйти на средину речки и привольно устроиться на выступающей каменной плите – с книгами, с ковриком, с бутылочкой красного. Что я и делал почти ежедневно. Книги очень скоро оказывались под затылком, а перед глазами вместо близких букв плыли далекие облака. Я с умом пользовался даже водной пылью, которую Брента поднимала вокруг меня. Я нарочно ложился ближе к краю плиты, зная, что эта пыль – надежное средство от перегрева; закутавшись в нее, можно смело спать под палящим солнцем.

Мысли о причастности Бренты к русской литературе, о магическом воздействии этой речки на воображение, на писательскую работоспособность и т. д. приходили мне в голову лишь в той форме, которая не имеет ничего общего с бодрой деятельностью ума. Засыпая, я думал, что вот было бы неплохо поставить на эту плиту письменный стол, на стол – компьютер, по бокам – книжные шкафы, а у южного края плиты расположить зашторенное окно; представлялся даже (в качестве подручного) затяжной московский дождь за окном… Литературная речка сполна расплатилась со мной за то, что я ни искал в ее струях литературы. Времени, которое утекло мимо меня вместе с водами Бренты, хватило бы на увесистый роман – я написал лишь два четверостишия. Одно – на самой реке:

По правое ухо Брента шумит,
По левое ухо цикада поет.
Беззвучны сосна и прибрежный гранит,

И селезня низкий полет.

Другое – в съемной квартире на Via Petrarca, на узком балконе, который выходил в сторону казармы, находившейся на другой стороне улицы. Мне был хорошо виден плац. По утрам на нем выстраивались ратники в шляпах старинного покроя, украшенных длинными перьями. Это были *alpini* – солдаты горнострелковых войск Италии. Кроме снаряжения и оружия, старинным у них было всё – и брусчатка на плацу, и пуговицы на мундирах, и медный горн, и служебные мелодии, выводимые на нем, и сама казарма, которая носила имя ближайшей горы – *Caserma Monte Grappa*.

Звуки горна выталкивали меня из постели в 6.30 утра. Опущенные жалюзи и подушка на ухе были бессильны перед их бодрящей пронзительностью. Я отчаянно призывал на головы егерей всевозможные беды – высадку шпионов в горах, вторжение диверсантов, злую угрозу из *татарской пустыни* (где ты, Дино Буццати!). Однако я не дождался чрезвычайных событий, которые потребовали бы от казармы переброски в горы всех сил, включая горниста. Через месяц-другой я втянулся в солдатский режим. Результатом были ранние – чуть свет – походы к берегам Бренты и четыре строчки:

В казарме горных егерей трубят подъем.
На склонах Монте-Граппы снег вчерашний —
Так утро начинается, а днем
Над речкой колокол звонит с высокой башни.

Но вернемся к делу. Имена его главных участников, или, как принято говорить в таких случаях, фигурантов, чрезвычайно значительны – Пушкин, Набоков, Ходасевич.

Дело берет начало в первой главе «Евгения Онегина», речка – в Доломитовых Альпах. Она вытекает из озер Кальдонаццо и Левико, которые питаются термальными источниками и лежат чуть южнее города Тренто на высоте 450 метров над уровнем моря в окружении заснеженных вершин.

От озер река направляется на восток по долине Вальсугана, которую проложили в горах гигантские ледники четвертичного периода. Брента повторяет их путь. Достигнув ущелья Примолано, она резко сворачивает на юг и вблизи городка Чисмон дель Граппа принимает воды своего самого большого притока – реки Чисмон. Затем она прыгает, спускаясь все ниже и ниже, по каменистым порогам и устремляется, пересекая

восточный край плато Азиаго, к горному селению Вальстанья. Там ее ждут еще два притока – один вытекает из озерца Субьёло, другой – из грота Ольеро. Взяв их воды, Брента продолжает бежать на юг по сумрачному каньону между горным массивом Монте-Граппа и плато Азиаго, пока наконец не вырывается на залитую светом Паданскую равнину. На границе горного и равнинного мира речку встречает город Бассано дель Граппа, возвышающийся на холме, образованном древней мореной. Четвертичные ледники, которые нагромоздили этот холм из обломков горных пород, вытолкнув их на край равнины, завершили здесь разрушительное движение. Брента же продолжает свой путь.

Перекатившись с ревом и грохотом через порог и огромные валуны (среди них та гостеприимная плита, о которой я упоминал), река спешит к холму, разделяет его пополам, протекает под Старым мостом Палладио, ощупывая опоры деревянного шедевра, затем струится под Новым мостом (*Ponte Nuovo*), сооруженным в Первую мировую войну, выходит из Бассано, достигает городка Фонтанива и плавно отклоняется на юго-восток, завершив ту часть своего пути, которая пролегает по так называемой Верхней равнине (*L'alta pianura*), имеющей значительный наклон. Перепад уровней между Бассано и Фонтанивой составляет 110 метров. Далее он уже не такой существенный – 30 метров на 50 километров.

В зоне Средней равнины (*La media pianura*) Брента отчаянно извивается; излучины следуют одна за другой; капризность течения доходит до крайности: перед мостом Кампо Сан-Мартино река вдруг разворачивается на 180° и делает вид, что собирается течь назад, к своей юности и колыбели – к Альпам. Но новый поворот возвращает ее на прежний курс – в сторону Адриатического моря. Это повторяется несколько раз. В Лимене, на подступах к Падуе, Брента впервые обнаруживает на своем пути искусственный рукав – канал Брентелла, прорытый в начале xiv века и связывающий ее с южной соседкой – рекой Баккильёне. В восточных предместьях Падуи она вновь соединяется с Баккильёне через канал Пьёвего, возникший на столетие раньше.

За Падуей Бренту ждут Венецианская низменность (*La bassa pianura veneziana*), зона лагуны (*zona lagunare*) и море – загробный мир всех рек. На этой последней стадии своей жизни Брента не принадлежит себе, ибо она вступает в тот особый район Апеннинского полуострова, где со времен расцвета Венецианской республики лишаются собственной воли все воднотелые существа, способные угрожать покою лагуны и ее островам – хранилищу драгоценного города. Бренте, которая среди таких

существ всегда стояла на первом месте, суждено пережить здесь множество метаморфоз и испытаний, уготовленных ей неумолимой гидротехникой… В Адриатическое море река уходит не своим путем – через искусственное устье близ Кьоджи. На своем, природном, пути все ее тело расчленено затворами шлюзов; ток ее жизни насильственно прерван на берегу лагуны – в городке Фузина напротив Венеции.

Таковы в самых общих чертах физико-географический портрет и гидрологическая история жизни Бренты.

Жизнь речки в русской литературе началась в 1823 году. Брента и здесь потекла с вершин. Высокогорным озером-источником была для нее XLIX строфа первой главы «Евгения Онегина». В самом начале строфы Пушкин вдруг воскликнул:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

В отличие от телесной, русско-литературная Брента имела канал в самом истоке. Название этого канала, который тянулся к туманному Альбиону, хорошо известно – *Байрон*. Во время южной ссылки Пушкин читал в оригинале «Странствования Чайльд Гарольда», где в XXVIII и XXIX строфах четвертой песни струились темные воды магической речки, отражавшие пурпур новорожденных роз, изменчивые краски заката и звезды венецианских небес. Оттуда, из байроновских строф, Пушкину ярко блеснуло само это имя – *Брента* (*The deep-dyed Brenta*). Но было в его мечтательном восклицании и нечто такое, что выходило за рамки явления, называемого байронизмом в русской литературе. Была еще задорная, вдохновляющая уверенность – «нет, увижу вас», – выраженная в пику всем обстоятельствам жизни, вовсе не сулившим монаршего (иного для Пушкина быть не могло) разрешения на выезд за границу, без которого, говоря словами «Путешествия в Арзрум», нельзя было «вырваться из пределов необъятной России» и увидеть эту заведомо прекрасную Бренту, знакомую «по гордой лире Альбиона».

Из пушкинской строфы, сообщающейся с байроновской, итальянская речка быстро потекла дальше по континенту русской поэзии.

В 1825 году Брента уже серебрилась и благоухала в первой строфе «Венецианской ночи» Ивана Козлова:

Ночь весенняя дышала

Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

В том же году Брента еще раз появляется в пределах поэтического мира «вдохновенного слепца», как называл Ивана Козлова Пушкин. Она заманчиво мерцает в стихотворении «К Италии», посвященном Жуковскому – «Ты будешь зреть тех волн очарованье/ И нежный блеск над Брентою луны», – и устремляется к новым мирам.

Пересекая в 1831 году владения музы Евдокии Ростопчиной, Брента из объекта безмятежного созерцания превращается в объект роскошно-томительного желания:

Вдоль Бренты счастливой хочу я плыть в гондоле,
И слышать Тассовых октав волшебный звук,
Напевы страстные его сердечных мук;
Иль в забытье внимать веселой баркароле, —

пишет Евдокия Петровна в стихотворении «Италия». Достигнув другой «Италии» – стихотворения, сочиненного в 1839 году Владимиром Бенедиктовым, Брента вновь становится предметом чистого восторга, без примеси личностных побуждений:

Страна Любви! Сребристой пены
Живой каймой обведена,
Поет и голосом сирены
Чарует внемлющих она.
Красавица! Вот волны Бренты:
У ней на персях дан им бег;
По этим персям вьются ленты
Жемчужно сыплющихся рек.

В 1864 году река заворачивает в стих Петра Вяземского, который, побывав на берегах знаменитой лагуны (и, может быть, вспомнив там о великом друге), восклицает:

Прелестный край! Над светлой Брентой
Пестреют гнезда свежих вилл,
И виноградник злачной лентой
Деревья стройные обвил.

Полей и рощей безмятежность,
Сады улыбчиво глядят,
Цветов обилье, блеск и нежность
Земною радугой горят.

И, наконец, в 1923 году речка обретает в русской литературе отдельное произведение, названное ее именем. Владислав Ходасевич заканчивает в немецком городке Сааров стихотворение «Брента», начатое им в Москве за три года до этого. Эпиграфом к нему Ходасевич берет пушкинские строки: «Адриатические волны,/ О Брента! нет, увижу вас…» Стихотворение очень значительное. Ключевое в деле Бренты. Оно как бы подводит итог всем восклицаниям о Бренте и ставит беспощадный диагноз этой речке, которую Ходасевич, – это нужно отметить особо, – в отличие от Пушкина, видел:

Брента, рыжая речонка!
Сколько раз тебя воспели,
Сколько раз к тебе летели
Вдохновенные мечты —
Лишь за то, что имя звонко,
Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.

Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,

Прозу в жизни и в стихах.

Спустя сорок лет Набоков публикует в Нью-Йорке свой грандиозный 4-томный комментарий к «Евгению Онегину»[32] – результат кабинетного подвига, по выражению автора. В какую-то минуту этого подвига, длившегося пятнадцать лет (труд был начат в 1949 году), Набоков доходит до той строфы «Онегина», где берет начало русско-литературная Брента. Он тут же вспоминает «Бренту» Ходасевича и отсылает читателя к «живительному шоку», то есть к реальному образу Бренты, нарисованному поэтом. И всё. Дело можно закрыть.

Но дело не поддается такому халатному закрытию, – эта мысль подняла меня однажды, словно звонкий военный горн, с каменной плиты – моей полуденной постели близ *Ponte Vecchio* и заставила немедленно приступить к следственным действиям. Они продолжались несколько месяцев.

В разные сезоны, где пешком, где на автомобиле, я исследовал все течение реки от Альп до Адриатического моря и установил, что ни на одном участке и ни в одно время года ее нельзя сопоставить со стихотворением Ходасевича.

В долине Вальсугана Брента обладает всеми характеристиками горной реки. Бурное течение, многочисленные пороги, гроты, пещеры, заводи, водопады, сияние водного потока – лазурного, аквамаринового, цвета альпийских небес – делают эту речку объектом природы столь впечатляющим, что о «живительном шоке» здесь нужно говорить в противоположном смысле. В пределах Вальсуганы река *шокирующе* красива.

В районе Бассано дель Граппы, в зоне Верхней равнины, течение Бренты хоть и не столь стремительно, как в горах, но обладает затаенной мощью. Палладио не случайно спроектировал для Бассано деревянный мост – каменный, существовавший до 1525 года, Брента безжалостно снесла во время паводка, воспользовавшись твердостью материала. Весной, в период таяния снега в горах река действительно приобретает здесь рыжий оттенок, но вместе с тем превращается в существо совершенно свирепое, которое не может называться речонкой. В остальное время она изумрудно-прозрачная, сверкающая – и вспыхивает ярко-белой пеной на перекатах. Выражение «лживый образ красоты» к ней можно применить здесь только насильственно, закрыв глаза.

В пределах Средней равнины Брента не широка – но ее живописные излучины и прозрачные воды не вяжутся с образом мутной и неказистой речки.

Между Падуей и берегами Адриатического моря, на Венецианской низменности, где развернута грандиозная и сложнейшая гидросистема, сложившаяся задолго до того, как Ходасевич написал свою «Бренту», «звонкого имени» *Брента* в чистом виде (без определения) не существует. Брента здесь раздваивается. Это происходит в предместьях Падуи, у городка Стра. На юго-восток от него течет *Brenta Cunetta*, то есть *Сточная Брента* – та самая Брента, которая помимо своей воли уходит в Венецианский залив Адриатического моря по искусственному руслу, прорытому в 1858 году для предохранения лагуны от паводковых вод и наносов речного грунта. При определенной погоде Брента Кунетта может показаться рыжей, но ни при каких обстоятельствах ее нельзя вообразить речонкой. По ширине, особенно вблизи рукотворного устья в Кьоджи, она сравнима с Доном в районе Ростова. Однако к «пурпурным розам», к плаванию на гондолах, к «напеву Торкватовых октав», к венецианским пышным празднествам – словом, к поэтическим явлениям, которые излучает город на островах лагуны, эта, так сказать, служебно-техническая Брента никакого отношения не имеет. К ним имеет отношение другая Брента – та, что течет на северо-восток от Стра в сторону лагуны и носит название *Naviglio Brenta – Судоходная Брента*. Именно она продолжает естественный путь Бренты, неестественно перекрытый в Фузине. Участок между Стра и Фузиной, где Навильо Брента регулируется системой старинных шлюзов, называется Брентской Ривьерой (*Riviera del Brenta*). Чтобы различить здесь «*лживый* образ красоты» нужно устранить из поля зрения очень многое: более пятидесяти пышных дворцов и вилл, созданных на живописных берегах для венецианских патрициев великими архитекторами Италии, среди которых были Палладио, Скамоцци, Фриджимелика, Прети, а вслед за дворцами и виллами, устранить регулярные парки, сады, цветники, скульптуры, причалы, расположенные вдоль медленно текущих вод, устранить гондолы, буркеллы, все нарядные корабли на водах и сами воды, разнообразно окрашенные фейерверком предметов и явлений, отраженных в них…

Исследовав все 175 километров течения Бренты, я поворачивал дело по-всякому, прикладывал стих Ходасевича и туда и сюда. И везде получалось, что это образец какой-то неслыханной лживости. Парадоксальной лживости, аналога которой не существует, потому что стихотворение, при всем его несовпадении с Брентой, написано с таким проникновенным чувством, на какое могла вдохновить именно *реальная* Брента, которую Ходасевич словно от кого-то скрывал.

В конце концов, для меня стало очевидно, куда и кому было адресовано это стихотворение.

Ходасевич, конечно, прекрасно знал и помнил, когда смотрел на эту речку, что Пушкину так и не случилось выехать за пределы Российской империи, чего он, как известно, мучительно желал на протяжении всей жизни. И в частности, ему не случилось увидеть вот эту проклятую Бренту, о которой он грезил в первой главе «Онегина». Ходасевич поставил в эпиграф пушкинские строки и написал стихотворение как бы о чем-то своем, о «плаще из мокрого брезента», о «прозе в жизни и в стихах». Но краем души он смотрел на тот свет, в сторону Пушкина, ради которого и сочинился этот стих. Ходасевич не был бы великим поэтом, если бы он стал беспардонно восхищаться Брентой под пушкинскими строками, где запечатлелась тоска и неосуществленность.

Но здесь проступает нечто большее, чем величие поэта. Это был один из самых совестливых и самых героических поступков в истории русской поэзии. Наперекор всякой реальности Ходасевич из высшей поэтической доблести и милосердия сочинил для Пушкина лживый образ не увиденной им речки. И сотворил это послание с полной вдохновенностью, с полной верой в рыжесть и ничтожность речонки.

Точное содержание этого послания теперь не так уж и важно для нас. Важно другое. Дело Бренты доказывает, что между поэтами устраняются время, пространство и смерть.

Но если говорить о содержании послания, то смысл его примерно такой: «Не расстраивайся, брат Александр Сергеевич, говно эта речка!»…

Стихотворение «Брента», надо заметить, было окончено Ходасевичем ровно через сто лет после того, как Пушкиным была написана первая глава «Онегина». Еще через десять лет, в статье «О чтении Пушкина» Ходасевич сказал: «Поэзия есть преображение действительности, самой конкретной».

Преображенная в жалкую речонку и освоившая с помощью поэта еще одно – вертикальное – русло, Брента в это время уже привычно впадала в небеса.

L’ombra di Venezia

Любовь Ницше к Венеции – явление столь же таинственное, как и его сумасшествие. Он не должен был бы любить этот город. По капризной восприимчивости к внешним обстоятельствам – к солнечному освещению, воздуху, климату, погоде, ландшафтам, месту пребывания – Ницше может сравниться только с Гоголем. Острейшая ипохондрия, сопровождающаяся действительными, но очень загадочными болезнями, не поддающимися точной диагностике; жестокие, доходящие в глазах посторонних до театральной яркости, но при этом вовсе не надуманные страдания от различных явлений природы; необыкновенная чувствительность к запахам, звукам, составу и настроению уличной толпы; резкие перепады душевных состояний под воздействием окрестных видов и общей атмосферы того или иного города; частые предчувствия скорой или немедленной кончины, побуждающие бежать в другие края и лихорадочно составлять на ходу завещание (Гоголь впервые опробовал этот жанр за двенадцать лет до смерти при отъезде из Вены в Рим, Ницше за двадцать – при отъезде из Базеля в Верхний Энгадин); гнетущая зависимость от самых неуловимых свойств окружающей среды, включая сюда такие, как «присутствие электричества в воздухе» (у Ницше) и «тягостное расположение в воздухе» (у Гоголя), – всё это в одинаковой степени и с одинаковым постоянством обнаруживала природа обоих писателей.

Как и Гоголь, Ницше беспрерывно передвигался по Европе в поисках *места*, – не какого-то прекрасного и комфортного места, которое с общепринятой точки зрения обладает привлекательными свойствами, а места, где именно ему, Ницше, могло бы хорошо чувствоваться, думаться, писаться. Такое место должно было отвечать сложнейшей комбинации условий, которые выставлялись одновременно всеми системами организма – от нервной и кровеносной до костной и мышечной. Причем выставлялись в ультимативной форме. Малейшие отклонения от требуемых условий, – например, отсутствие солнца в течение несколько дней или даже часов, мимолетный запах сырости в воздухе, колебания температуры, дождь, низко плывущее облако и т. п., – могли повлечь за собой сильнейшие приступы мигрени, тошноту, рвоту, бессонницу, боль в желудке, разлитие желчи, расстройство зрения, судороги и, наконец, то душевное состояние, которое сам Ницше называл мрачной беспросветной меланхолией.

Сырая и каменная Венеция, из которой не видно гор и

которую нельзя назвать уединенным городком, вписанным в величественную картину природы и населенным горсткой неприметных жителей (таков, примерно, идеал места Ницше), кажется, не должна была даже выманить Ницше из полюбившейся ему Швейцарии. Впрочем, его и сама Италия выманила оттуда с трудом. Поначалу он лишь осторожно заглядывал в нее. В августе 1872 года он поселился для пробы в Бергамо и южнее этого города не спускался, потому что опасался удаляться от гор, горного воздуха, горных озер, альпийских ландшафтов. Из Бергамо он уехал через несколько дней – сбежал в швейцарскую деревушку Шплюген, расположенную на высокогорной дороге, и сообщил оттуда барону Герсдорфу, что чувствует себя «вполне довольным выбранным местопребыванием»

Позднее, скитаясь в поисках *места*, он все же продвинулся на юг – в глубь Италии. Однако знаменитый город на островах лагуны он повидать не спешил. Любая его *южная* поездка (в Рим, Неаполь, Сорренто) требовала, как правило, немедленной *северной* поездки – в альпийские города и городки… В Венецию его зазвал Петер Гаст – преданный друг и поклонник, увлекавшийся композиторством и отличавшийся деятельным воображением (когда Ницше лишился рассудка, ему чаще других казалось, что философ притворяется сумасшедшим). Обитая в Венеции, Гаст много раз настойчиво приглашал туда Ницше, который по разным причинам – главным образом из опасений за свое здоровье – отказывался от этой поездки. Но дело обернулось так, что Гаст однажды сам приехал за Ницше на озеро Гарда в Риву и доставил его в Венецию. Это случилось в марте 1880 года. В городе шли проливные дожди. Гаст был в ужасе. Он отлично знал, какое катастрофическое воздействие может оказать на Ницше дурная погода, особенно в таком городе, как Венеция, где нет утешающих картин природы, а есть лишь мертвые воды лагуны, пропущенные по каналам.

Но случилось чудо. Ни дождь, ни сырость, ни запах лагунной гнили, ни узкие улицы, затопленные сумраком, – ничто не могло затмить того восторженного чувства, которое вызвала в Ницше Венеция.

Восторг оказался не мимолетным. Венеция, куда Ницше потом приезжал много раз, втянула его в себя и поразила настолько, что о своей влюбленности в нее он писал и говорил с таким же постоянством, с каким Гоголь превозносил *свое* блаженное место – Рим. До конца сознательной жизни Ницше утверждал, что в Венеция – это единственный город, который он может переносить, в котором он счастлив и в котором ему всегда было «хорошо и приятно»… Почему?

Ответить на этот вопрос, рассуждая в том духе, что Венеция безусловно прекрасный город, невозможно.

Городов прекрасных *безусловно* (без множества всевозможных условий) для Ницше не существовало.

За чудом стояло действительно нечто чудесное. Устройство Венеции полностью совпадало с устройством ума Ницше.

Его слова о том, что «Венеция состоит из ста отдельных единств и в этом ее магическое очарование», можно применить к любой из его книг. Шмейцнера, прижизненного издателя, не раз выводило из себя то обстоятельство, что Ницше предлагал ему не цельные произведения, а собрания афоризмов – разрозненных единств, нанизанных на неуловимую нить. «Публика не хочет читать афоризмов», – заявлял ему издатель. Но это был непреодолимый стиль Ницше. *Та к* он хотел и *так* только мог писать… как «написана» Венеция, где каждый отдельно взятый уголок города или островок лагуны представляет собой законченный город или архитектурный афоризм. Это во-первых.

Второе совпадение еще более удивительное. Венеция – гигантский лабиринт, без всяких уподоблений. Стоит путнику уклониться от нахоженных маршрутов, и ближайшие переулки тут же его захватят, закрутят, перевернут и быстро передадут другим переулкам, мостам, улицам, которые сделают его представления о сторонах света и собственных координатах совершенно невнятными. Он будет долго блуждать в безвыходном, сдавленном пространстве, где нет ни юга, ни севера, ни горизонтов, ни направлений, ни самих небес, а есть только каменные проходы и узкая полоска света над головой, – он превратится в пленника. Но любому пленнику этого лабиринта a priori известно, что на его краю есть что-то такое, от чего все изменится. А именно – есть площадь Сан-Марко, на которую рано или поздно выведут запутанные улицы и переулки. И там, на этой площади, произойдет нечто родственное тому, что мыслят себе физики, когда говорят о сингулярности, Большом Взрыве, эре Планка и экспоненциальном расширении Вселенной. Произойдет взрывное и ослепительное расширение венецианского лабиринтного пространства. Мгновенно развернется праздничное вещество – огромные цветные флаги, сияние собора Сан-Марко, живое море, которое наползает на площадь. И все будет поставлено на свои места – горизонты, стороны света, солнце, небеса. Но неожиданность и сила этого взрыва таковы, что и сознание будет поставлено в особое состояние, как если бы ему открылась какая-то счастливая идея…

По такой же схеме происходила вся мыслительная деятельность Ницше. Это было блуждание по лабиринту мыслей в

поисках некоей великой взрывной идеи, которая должна потрясти и привести в состояние эйфории, возвышенного ужаса и счастья, как, например, идея Великого Возвращения (не будем повторять вслед за Борхесом, что Ницше не первый ее открыл; с площадью Сан-Марко то же самое – когда она открывается взору путника, измученного кружением в сумрачном пространстве, у него возникает ощущение, что он первый обнаружил ее наличие в мире). В сущности, в философии Ницше нет никакой другой системы, кроме этой. Он помечал афоризмами пути своего блуждания и продолжал по наитию двигаться в сторону искомой *великой идеи*, как посетитель Венеции движется по наитию из темного лабиринта улиц к всепросветляющей площади Сан-Марко. Структура Венеции, как ни один объект мироздания, накладывалась на структуру сознания Ницше.

Не случайно в книге «Утренняя Заря», которая была начата во время первого приезда в Венецию и носила черновое название *L'ombra di Venezia* («Тень Венеции»), Ницше писал: «Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образу наших представлений о душе, – мы создали бы лабиринт!» И не случайно в «Сумерках Идолов» он утверждал: «Афоризм, апофегма, в которых я первый мастер среди немцев, суть формы „вечности“».

Случайным можно считать тот факт, что Ницше очутился на площади Карло Альберто в Турине в первый день своего помрачения или окончательного просветления (как взглянуть: ведь он обнимал там в приступе сострадания лошадь, избитую кучером). Для сумасшествия ему, несомненно, была уготовлена площадь Сан-Марко в Венеции, где он должен был бы расцеловывать голубей.

Уроки того и этого света

Повестей, которые составляют знаменитый пушкинский цикл, конечно же, не пять, а шесть.

Шестой или, точнее, первой – является повесть о самом Иване Петровиче Белкине. Покойном. Это очень важный момент.

Пушкин сразу же объявил его покойным. Как автор – как мистификатор – Пушкин, несомненно, поступил мудрее, чем Гоголь, который представил публике своего Рудого Панька не только очень живым, но и очень говорливым.

Белкин в той особой пушкинской повести, которая носит название «От издателя», молчит. Его нет. Он покойный.

Выдуманному автору, во избежание дальнейшего разбирательства о природе и подлинности его личности, лучше всего быть покойным. Пушкин знал это превосходно. Мысль о том, что Белкин безвозвратно отсутствует на этом свете, он старался внушить читателю с особой настойчивостью. В коротком тексте, который повествует нам о Белкине, слова из одного семантического поля – «смерть», «покойный», «покойник», «кончина», «умер» – встречаются двенадцать раз.

Даже в деловых письмах к Плетневу, когда это было вовсе не обязательно, ибо адресат уже был подробно извещен о принадлежности Белкина к области фантастического, Пушкин не забывал держать Ивана Петровича твердой рукой в мире ином. «Я переписал мои пять повестей и предисловие, то есть сочинения покойника Белкина, славного малого», – сообщал он Плетневу в одном письме. В другом – писал: «На днях отправил я тебе через Эслинга повести покойного Белкина, моего приятеля».

Но «приятелю» и «славному малому» не лежалось в могиле.

Помимо воли реального автора выдуманный автор то и дело пытался восстать из мертвых. Впервые эта самовольная попытка воскрешения случилась осенью 1833 года. Князь Владимир Одоевский прислал Пушкину письмо. Оно начиналось такими словами:

> «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин?»

Да, именно так – «почтенный», а не «покойный» – написал князь. И далее, как ни в чем не бывало – как будто ему и дела не было до того, что господин Белкин (покойный) *делать* ничего не мог, – князь предлагал «почтенному» автору выступить с новой повестью в замышлявшемся альманахе «Тройчатка». Выступить

вместе с двумя другими авторами родственного генезиса – Рудым Паньком и Иринеем Модестовичем Гомозейко, порожденным фантазией Одоевского.

«Что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет и „Тройчатка“ не выйдет к новому году, что кажется необходимым. – А что сам Александр Сергеевич?», – вопрошал князь.

«Сам» Александр Сергеевич, отвечая Одоевскому, немедленно и решительно уложил на место приподнявшегося было из гроба автора.

«Не дожидайтесь Белкина, – отписал он князю, – не на шутку, видно, он покойник; не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панька».

Воскрешения не произошло.

Но история с Белкиным неожиданно приобретает черты истории, случившейся с носом майора Ковалева. Белкин или, во всяком случае, его имя, пускается гулять по свету самостоятельно.

Весной 1835 года, находясь в Петербурге, Пушкин получает свежий номер «Библиотеки для чтения». Он перелистывает его. В одном из произведений ему вдруг попадается на глаза язвительный отклик на повесть Михаила Погодина «О московском извозчике». Пушкин смотрит на подпись автора, задевшего Погодина. Смотрит и не верит своим глазам: в авторах значится Белкин. Пушкин тут же принимается писать Погодину:

> «Милостивый государь Михайло Петрович,
>
> Сейчас получил я последнюю книжку „Библиотеки для чтения“ и увидел там какую-то повесть с подписью *Белкин* – и встретил Ваше имя. Как я читать ее не буду, то спешу Вам объявить, что этот Белкин не мой Белкин и что за его нелепость я не отвечаю».

Повесть, подписанная Белкиным, принадлежала перу Сенковского. Она называлась «Потерянная для света повесть».

Спустя несколько месяцев после этого случая Пушкин вновь предпринимает попытку, так сказать, увековечить факт смерти Белкина.

«Радуюсь, что Сенковский промышляет именем Белкина, – пишет он Плетневу, – но нельзя ль (разумеется, из-за угла и тихонько, например в „Московском наблюдателе“) объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего омонима? Это бы, право, было не худо».

Мне хотелось бы обратить внимание на эти слова –

«настоящий Белкин». Вся история взаимоотношений между Пушкиным и Белкиным говорит нам о том, насколько последовательным был Пушкин в своих вымыслах, над которыми «обливался слезами» и над которыми, без сомнения, упоительно хохотал, – в зависимости от характера вымысла.

Да, писатель Белкин, появился на свет в результате игры воображения. Но это была очень серьезная и очень глубокая игра. Именно поэтому Пушкин не мог допустить такой фантастической шутки, чтобы *покойный* Белкин объявился с новыми повестями в компании *живых* – Рудого Панька и Гомозейки (чего не мог прочувствовать князь Одоевский). И именно поэтому открещивался от любых фальшивых, балаганно воскресших белкиных.

Настоящий Белкин был покойным с самого начала. И с самого начала Пушкин относился к нему как к настоящему – жившему, писавшему, умершему и не умеющему возвращаться с того света. И поэтому речь идет не о призраке и даже не о персонаже, – о писателе Белкине, писателе странном, необычном, со своими слабостями и причудами, которые были свойственны некоторым тихим российским помещикам XIX столетия. Но были в характере Белкина и такие черты, которые делают образ этого писателя, во-первых, универсальным, то есть находящимся вне времени и наций, а во-вторых, идеальным, то есть достойным восхищения. Я не в состоянии провести параллель между Пушкиным и Куртом Воннегутом. Но мне, к примеру, отчетливо видится психологическое сходство между Белкиным, чьи рукописи употребляла «на разные домашние потребы» ключница, и воннегутовским писателем Килгором Траутом, который «сам толком не знал, сколько он книжек написал». Оба обладали тем чудесным и редким, почти идиотским невниманием к собственным трудам, которое свойственно просветленным авторам.

Именно его, Ивана Петровича Белкина, Пушкин высоко ценил как автора, пишущего в жанре повести. Когда секретарь Бенкендорфа Павел Миллер спросил однажды у Пушкина: «Кто этот Белкин?» – ответ был такой: «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно».

Очень возможно, что Пушкин мечтательно задумался о чем-то, когда произнес эти слова. И даже, быть может, грустно вздохнул, поглядывая на Миллера: дескать, жаль, что век Ивана Петровича был недолгим. Смеялся ли Пушкин при этом в душе или «обливался слезами», нам неизвестно.

История песен
Рассказы о Катулле

Comites [33]

Катулл был обидчивым человеком. Очень не любил, чтобы его обижали. Злился страшно. Не то чтобы ему совсем не нравилось, когда его обижали. Обижаться ему было интересно. От обиды ему хорошо писалось. Он даже нарочно ходил по Риму и подбивал прохожих, чтобы его обидели. Но никто не соглашался. Редко соглашались – не хотели обижать. Он, конечно, мог взять и плюнуть в кого-нибудь или сказать кому-нибудь ядовитое слово, чтобы добиться своего. Но тогда бы его обидели справедливо. А Катуллу хорошо злилось и хорошо писалось, когда его обижали несправедливо. Тогда и стихи выходили отличные.

По Риму он ходил не один. Всегда шли за ним два человека – Фурий и Аврелий. Куда Катулл – туда и они. Шли чуть-чуть позади него и радостно поглядывали по сторонам, потому что гордились, что идут за поэтом, – делали вид, что составляют ему компанию, составляют его окружение. Катулл их не прогонял, разрешал им сопровождать себя. Посмотрит назад через левое плечо – там Фурий, посмотрит через правое – там Аврелий. Оба приветливо улыбаются ему. Ну пусть, думает, идут.

Аврелий был высокий, светловолосый, а Фурий чернявый, смуглый, небольшого роста. Когда Катулл оглядывался через правое плечо, чтоб посмотреть на Аврелия, то поднимал лицо вверх и выкручивал шею, будто следил за птицей. Фурия же он искал далеко внизу, и тоже выкручивал шею, надвигая подбородок на ключицу и отставляя ногу назад, будто рассматривал свою пятку, хотя в действительности Фурий был лишь немного пониже поэта; Аврелий – немного повыше. Иногда они сами давали о себе знать, чтобы Катулл лишний раз не оглядывался. Чуть только заметят, что он хочет повернуть голову налево или направо, тут же объявляют:

– Я здесь, Катулл! Я Фурий!

– Я здесь, Катулл! Я Аврелий! Привет тебе, славный поэт!

А потом идут дальше, гордо улыбаясь и не произнося ни слова. Сам же Катулл никогда с ними не заговаривал и ничего о них не знал. Только и знал, как их зовут. Да еще, конечно, ему было известно, что они следуют за ним повсюду. Если кто-нибудь спрашивал у него, кто они такие, он отвечал: «Comites Catulli»[34]. Именно так и говорил – *comites*. Нарочно употреблял это словечко, которым обозначалась свита очень важных сановников. Думал, что кто-нибудь посмеется над ним – укажет на него пальцем и крикнет: «Catullus consulem se fert! Hahae!»[35] А Катуллу только того и надо было, чтоб его кто-нибудь обидел. Но

никто не обижал, не смеялся. Наоборот, почтительно кивали и говорили: «Свита. Ну, хорошо». А то и просто пожимали плечами – мол, свита так свита.

Однажды Катулл целый день ходил туда-сюда по Риму, выискивая, кто бы его обидел. Что только ни делал, как только ни выкрутасничал. И на одной ноге скакал, и нижнюю губу выпячивал, и по земле катался. И ничего. Все в Риме любили Катулла и очень хорошо к нему относились. Он уже было расстроился и пошел скорым шагом, ничего не делая. Только правой рукой необыкновенно сильно размахивал. Как вдруг пришла ему в голову одна мысль, от которой он сразу же остановился и развернулся. Фурий и Аврелий едва не налетели на него. Они крепко схватились друг за друга, чтоб не упасть и застыли в неудобных позах. Катулл подождал, пока они выпрямятся, а потом спросил, указывая ладонью на одного и на другого:

– Ты – Фурий? Верно? А ты – Аврелий? Так?

Но те ничего не ответили ему, потому что им было удивительно, что Катулл с ними заговорил. К тому же они были юношами скромными и даже застенчивыми. Фурий, например, разговаривал чрезвычайно тихо, потому что боялся кого-нибудь потревожить своим голосом. А его товарищ, Аврелий, хотя и разговаривал громко и весело, тоже был человеком вежливым – никогда никого не перебивал.

Так они стояли и молчали.

Тогда Катулл взял и прямо спросил у них, что они думают о его стихах? То есть не думают ли чего-нибудь плохого – чего-нибудь обидного для поэта?

Юноши живо ответили, что ничего плохого о стихах Катулла они ни в коем случае думать не могут.

Но Катуллу не понравились эти слова. Взгляд его сделался злым и холодным. Заметив это, юноши стали горячо уверять его, что никогда даже и не читали его стихов. Но и эти слова не понравились Катуллу. Взгляд его сделался еще более злым – глаза сощурились, как у змеи. Он вытянул шею вперед и сквозь зубы процедил:

– Так вы, значит, и стихов моих никогда не читали? Ни одного стиха моего не читали?

Фурий, говоривший медленно и тихо, на этот раз высказался быстро и громко. Он даже опередил Аврелия, который уже начал было что-то говорить.

– Нет-нет, Катулл, – сказал Фурий, – некоторые стихи твои мы немножечко читали.

– Читали, – подтвердил Аврелий, решив во всем доверяться

Фурию.

– Немножечко… – произнес Катулл, глядя на Фурия. – И что же?

Фурий молча опустил голову, не зная, что отвечать поэту. То же самое сделал Аврелий. Но Катулл настаивал на своем. Он топнул ногой и так сердито воскликнул: «Я жду! Отвечайте!», что Фурий и Аврелий вздрогнули. Однако оба продолжали молчать. Тогда Катулл улыбнулся и стал говорить таким же ласковым голосом, каким говорил Фурий.

– Вам показалось, – сказал он, – что стишки мои немножечко игривы?… Так? Так?

Фурий кивнул. Кивнул и Аврелий.

– И вы решили, что и сам я пакостный развратник?

У Фурия от этих слов задрожали губы; у Аврелия из глаз покатились слезы.

– Ну, хорошо, – сказал Катулл, – вы решили, что я чуть-чуть нескромный?… Так? Так?

Юноши кивнули и тут же закрыли лица ладонями. Оба вдруг зарыдали так горько, что Катулл растерялся и принялся их утешать. Он старался напомнить им о чем-нибудь приятном. Стал расспрашивать о родителях, о мечтах. Поинтересовался, целовались ли они когда-нибудь с девушками. Фурий и Аврелий отвечали невнятно. Они что-то бормотали сквозь затихающие рыдания, что-то говорили, вытирая раскрасневшиеся щеки и беспрестанно всхлипывая. Наконец они успокоились, и даже сами стали задавать Катуллу разные вопросы.

Но Катулл их уже не слушал. Лицо его было запрокинуто в небо. Он стоял неподвижно и держал возле ушей крепко стиснутые кулаки.

Когда же он перестал смотреть в небо и взглянул на Фурия и Аврелия, те бросились бежать прочь, потому что никогда еще не видели, чтобы в человеческих глазах сверкала такая бешеная обида. Они бежали, спотыкаясь и падая. А вслед им неслись слова:

Pedicabo ego vos et irrumabo,
Aureli pathice et cinaede Furi,
qui me ex versiculis meis putastis,
quod sunt molliculi, parum pudicum.
Nam castum esse decet pium poetam
ipsum, versiculos nihil necesse est;
qui tum denique habent salem ac leporem,
si sunt molliculi ac parum pudici,
et quod pruriat incitare possunt,

non dico pueris, sed his pilosis
qui duros nequeunt movere lumbos.
Vos, quod milia multa basiorum
legistis, male me marem putastis?
Pedicabo ego vos et irrumabo.

В жопу засажу вам, вставлю в рот обоим,
педерасты подлые Фурий и Аврелий,
посчитавшие меня нескромным
по стишкам моим слегка игривым.
Непорочным подобает быть поэту лично,
а стишки в том не нуждаются нисколько;
лишь тогда они прелестны, остроумны,
когда чуть нескромны и слегка игривы,
и когда способны распалить желанье, —
не в юнцах, конечно, но в тех седовласых,
что огонь утратили в чреслах онемевших.
Вам, сорвавшим тысячи поцелуев нежных,
я кажусь мужчиной никуда не годным?
В жопу засажу вам, вставлю в рот обоим[36].

Так была написана песнь шестнадцатая, входящая в «Книгу Катулла Веронского» – бесценное сокровище мира.

Poena [37]

В детстве Катулл был очень любознательным мальчиком. Бывало вытянет руку вперед, раскрутится волчком, зажмурив глаза, потом останавливается и спрашивает у бабки Петронии:

– А что в той стороне света, бабушка?

– Там Этрурия, внучек, – отвечает Петрония ласковым голосом. А сама думает: «Чтоб тебя черти съели! Уже целый день крутишься!»

– А за Этрурией что? – продолжает Катулл.

– За Этрурией Рим, сынок.

– А за Римом?

– Море.

– А за морем?

– Сицилия, Катуллушка.

– А за Сицилией?

– Опять море, милый.

– А за опять-морем?

– Африка.

– Ну хорошо.

Катулл снова раскрутится как следует и снова спрашивает Петронию о тех краях, куда нечаянно укажет рука. Подвижным был мальчиком. Ему и дела не было до того, что бабке всегда хотелось спать в загородном имении его родителя – на Бенакском озере, на кончике мыса Сирмион. Ее усыплял там альпийский воздух. Катулла – наоборот – бодрил.

Однажды он взялся крутиться обычным манером и крутился до того долго, что Петрония, глядя на него, стала чувствовать тошноту. А потом и задремала на стуле. Как вдруг слышит:

– Петрония! Петрония! Не спи! Говори – что там?!

– Где?… Где?… – всполошилась бабка. – Дай посмотрю…

Посмотрела и видит, что рука Катулла указывает на северо-восток.

– Там Верхняя Панония, голубчик.

– А за Верхней Панонией что?

– За Верхней – Нижняя, – ответила Петрония и снова задремала.

– А дальше что?! – воскликнул Катулл звонким голосом.

– Дальше Дакия, – очнулась Петрония. – За Дакией – Геты, за Гетами – Скифы, за Скифами – Язиги, за Язигами – Роксоланы, за Роксоланами лежит Меотийское озеро… широкое-широкое озеро… лежит-лежит озеро…

– А за озером что?

– За озером живет одноногий казак Равид. Живет один-одинешенек… Желто-серая степь кругом…

– А за казаком Равидом что?

– А за казаком Равидом больше нет ничего, – брякнула Петрония.

На том и уснула. Да так крепко, что, пробудившись, еще долго не могла взять в толк, что желает узнать Катулл, подпрыгивая к ее уху и выкрикивая на лету одни и те же слова:

– Qua facie est?! Qua facie est?![38]

– Кто?… – откликнулась наконец Петрония.

– Казак Равид! – напомнил Катулл.

– А-а-а, казак Равид… Ну, какой он… какой… Казак, как казак. Носит синие шаровары с красными лампасами. Фуражка на нем. Из-под фуражки чуб торчит. На боку – шашка. За спиной – пика. Вот и весь казак.

– И что же он делает на краю света?

– Воюет, – вздохнула бабка. – Воюет. Ничего больше делать не хочет.

– Лжешь, Петрония! – вдруг разозлился Катулл. – С кем ему воевать?! Он там один!

– А вот сам с собой и воюет. Даже ногу себе на войне отрубил, – возразила бабка.

Возразила и прикрыла глаза, заметив, что Катулл мечтательно задумался. Но не успела она уронить голову на грудь, как услышала возглас:

– Петрония!

– Что такое?…

– Хочу написать письмо казаку Равиду!

– Зачем письмо?… Какое письмо?… – испугалась бабка.

Но Катулл только топнул ногой, – еще в детстве умел люто топать ногой, – не спорь, мол, со мной, Петрония, не смей.

Делать нечего. Кликнули писаря, принесли папирус, чернила, пемзу, камышовые перья – все, что надо. Петрония устроилась поудобней на стуле:

– Ну, друг сердечный, диктуй.

Катулл вышел на средину атриума. Левую ногу выставил вперед, правую руку поднял вверх и раздвинул пальцы, будто схватил апельсин. Молча постоял в такой позе минуту-другую, потом начал диктовать:

> «Гай Валерий Катулл приветствует одноногого казака Равида!
>
> Как ты живешь? Я живу хорошо. У меня есть старший брат, есть бабка Петрония. Батюшка мой

магистрат в Вероне. Он все время сидит там, а мы с бабкой здесь, на Бенакском озере. Брат – не знаю где. У нас озеро узкое и длинное. А у тебя широкое. Не отруби себе вторую ногу, если будешь опять воевать. Я хочу стать поэтом, когда вырасту. И хочу жить в Риме, чтоб гулять по улицам. Озеро у нас синее, как море. На горах лежит снег. А твое озеро еще дальше гор. Но наш табеляриус к тебе прибежит, ты не бойся. У бабки моей есть красивый перстень. А у меня такого нет. Но батюшка сказал, что подарит мне свой. Мне бывает грустно и весело жить на свете.

Будь здоров, мой казак».

Послание уложили в футляр. Призвали раба-письмоносца и велели ему бежать на северо-восток до пределов мира. Табеляриус быстро выскочил из дома, громко топая ногами – топ-топ-топ… топ-топ-топ… Побежал.

С той поры и завелась у Катулла привычка писать письма одноногому казаку Равиду. И в детстве ему писал часто, и в отрочестве (уже своей рукой), и в юности. А когда переехал в Рим, стал писать еще чаще. То и дело покупал рабов-письмоносцев и отправлял их к Равиду. Много денег на письма изводил. Никто не знал об этих тратах поэта. Один только всадник Марк Целий знал. У него-то и деньги Катулл одалживал на покупку проворнейших табеляриусов. Потом, конечно, не всегда отдавал. Но Целий не обижался – богатый и щедрый был человек. Очень крепко дружил с Катуллом.

– Кто этот Равид?! Так – тьфу! Безвестный человечек! – часто говорил Целий по-дружески. – Не пиши ему, брось!

Целия огорчало, что Равид не отвечал Катуллу. А поэта это нисколько не огорчало.

– Ему бы только письмо написать да отправить. Нравится ему знать, что гонец побежал с его письмом на край мира, – объяснял Целий кредиторам.

Это было в то время, когда он уже разорился на катулловых посланиях и когда кредиторы принялись отсуживать у него имения. Но Целий и в этих затруднительных обстоятельствах добывал деньги для Катулла, чтобы тот мог слать письма на северо-восток. Всё ему хотелось дождаться, когда же Равид ответит поэту. И вот однажды Равид ответил. Письмо было коротенькое и безобразное. Некрасивое. Нехорошее.

«Привет Гаю Валерию Катуллу шлет одноногий казак Равид.

Пишешь ты мне про свою любовь, которую зовут

Лесбия. У нее такие алые губки и так она ласково целуется, что и я теперь хочу ее полюбить, японский бог! А у нас тут тьма кромешная. Солнце не светит ни хрена.

Ну, прощай».

Катулл прочитал казацкое послание и так его ужалили в сердце вероломные слова, что он упал, будто мертвый, и, не поднимаясь, принялся диктовать с земли злым шепотом Марку Целию, который был рядом, последнее письмо для Равида:

Quaenam te mala mens, miselle Ravide,
agit praecipitem in meos iambos?
Quis deus tibi non bene advocatus
vecordem parat excitare rixam?
An ut pervinias in ora vulgi?
Quid vis? qualubit esse notus optas?
Eris, quandoquidem meos amores
cum longa voluisti amare poena.

Что за вздорная мысль, ничтожный Равид,
гонит тебя в пропасть моих ямбов?
Что за бог – тебе плохой советчик —
на шальной раздор со мной толкает?
Хочешь ты стать притчей во языцех?
Славным жаждешь быть любой ценою?
Будешь! Удостоишься навеки этой кары,
коль мою любовь любить ты вздумал.

Так была написана песнь сороковая, входящая в «Книгу Катулла Веронского» – бесценное сокровище мира.

Puella defututa [39]

У Катулла всегда гулял ветер в кармане, хоть батюшка и присылал ему из Вероны копеечку. Пришлет ему, к примеру, десять тысяч сестерциев сегодня, а назавтра у Катулла уже нет ничего. Другой бы огорчился – поэт только рад. Выскочит из дома босой, отнимет костыль у какого-нибудь калеки и бежит по улице вихрем.

– Нищий я, – кричит, – обездоленный! Подайте на девку! Девку не на что купить!

Всадник Марк Целий в таких случаях не оставлял друга. Бежал следом и спрашивал у прохожих:

– Ecquis ei unam libellam dedit? [40]

Никто не давал, конечно. Наоборот, побыстрее сворачивали в какой-нибудь переулок. Или притворялись кривыми – мол, сами живем подаянием.

– Эх, вы! – корил Целий римлян за черствость и летел дальше.

Если же находился такой человек, который даже и костыль свой не отдавал Катуллу, принимаясь с ним злобно скандалить, то Целий не прощал такую дерзость. Ударит упрямца по голове и скажет: «Ты кому, собака, перечишь?! Ты первому поэту Рима перечишь!» А потом отберет у него костыль и протянет Катуллу со словами: «Беги, душа любезная! Я за тобой!»

Однажды друзья мчались по городу. Катулл выкрикивал:

– Пожертвуйте на жалкую потаскушку с улицы Субура!

Целий следовал за ним, сжимая кулаки, чтоб ударить на ходу любого жадного прохожего.

И вот подвернулся им один пожилой писарь, который много лет служил в Азии и недавно возвратился в Рим к старшей дочке. Он смело шел им навстречу – не притворялся убогим, никуда не прятался, потому что был человеком милосердным – обиженного не привык обходить стороной. Он сам остановил Катулла и спросил:

– А сколько же тебе нужно, сердечный?

– Десять тысяч сестерциев, – объявил Катулл, не раздумывая.

– Вот так раз, – изумился писарь, – а я думал дать тебе один.

Едва только он произнес эти слова, как на него налетел Марк Целий:

– Да как ты смеешь пререкаться с поэтом! Негодяй! Старый пес!

Вспыхнул скандал. Собралась толпа; явился зять писаря, прибежали внуки, дочка. Затеялась драка.

После драки – суд.

Зять писаря оказался богатым откупщиком. За него – наилучшие адвокаты. У Целия тоже адвокаты отменные. И с той стороны блестящие речи. И с этой. И у тех покровители в Сенате. И у этих. Ни одна сторона не может взять верх. Дело запуталось ужасно. Разбирались четыре месяца. Наконец, постановили так.

Мол, пусть Катулл, из-за ветреных слов которого нагромоздилось дело, выйдет завтра чуть свет на улицу Субура – как будто нечаянно, – и если первая девка, какая ему там встретится, запросит с него десять тысяч сестерциев, то взыскать таковую сумму с писаря и его зятя в пользу Катулла и Целия. Если же девка запросит меньшую цену, то взыскать десять тысяч с Катулла и Целия в пользу писаря и его зятя.

– Macte![41] – прокричал Целий на весь Форум. Тут же призвал своих рабов с носилками – сам сел в какие похуже, Катулла усадил в прекрасные, – и покатили друзья в кабачок пировать.

И пока пировали, Целий все повторял, кивая в сторону Форума:

– Вот и славно!

А что – «славно», не объяснял Катуллу, которому с каждым глотком вина становилось на душе все тяжелее и тяжелее, потому что он знал, что нельзя отыскать на улице Субура такой девки, чтоб запросила хотя бы двадцать сестерциев. И только к вечеру Целий все объяснил.

– Вот сейчас, – говорит, – мой милый Катулл, выпьем по последней чарочке – ты поедешь домой, а я в квартал Субура. Найду там самую умную и красивую шлюху, подкуплю ее, дьяволицу, чтоб она тебе завтра без запинки брякнула: «Десять тысяч!» Проучим паршивого писаря с подлым зятем и претора с судьями – чтоб не умничали!

Дома Катулл повеселел. Лежит на кушетке – мечтает, книги читает. Ждет друга с известиями.

Целий явился во вторую ночную стражу – усталый, запыленный, – выпил воды, отдышался и говорит:

– Ну, брат Катулл, все устроил! Девку зовут Амеана. Красивая! Жалуется, кокетка, что нос чуть великоват, а сама с бронзовым зеркальцем не расстается – то и дело любуется собой. Ремесло свое хочет забросить, потому что завелся у нее дружок – Мамурра родом из города Формии. Заведует в войске Цезаря строительством и провиантом. Немножко ворует, немножко жульничает, но человек порядочный… Да тебе всё это и не нужно знать, мой драгоценный Катулл. Девка куплена! Тебе нужно только сделать вид, будто это обычное дело, что субурская

потаскушка просит десять тысяч.

– Конечно, – молвил Катулл. И снова принялся мечтать о чем-то.

Что с ним с лучилось, когда рано утром за ним приехали на конях обвинители, свидетели, защитники, судьи, Целий, претор, писарь с зятем, – то ли Катулл переводил всю ночь греческую оду, то ли носились в его голове до рассвета фантазии, – никто не знает. Но только выглядел он так, будто не мог понять, зачем его усадили в крытую повозку; зачем привезли – ни свет ни заря – в квартал Субура; зачем выпустили на улицу; зачем сказали: «Иди!»; зачем попрятались по закоулкам…

Катулл пошел.

Он шел медленно, заложив руки за спину и глядя себе под ноги. Продолжал, как видно, думать о чем-то – чего не додумал дома. Даже голову не сразу поднял, когда перед ним очутилась девушка и громко сказала:

– Эй, красавчик! Плати десять тысяч сестерциев и пойдем со мной!

– Что?… Что такое?… – рассеянно отозвался Катулл.

Девушка смутилась:

– Я Амеана… Десять тысяч… Прошу десять тысяч…

Тут только Катулл очнулся

– Что?! Что?! – воскликнул он так грозно, что девушка в испуге попятилась к дому, из которого вышла.

Катулл же остался стоять на месте. Он весь задрожал, будто от лютой стужи. Потом вдруг запрокинул голову, прикрыл глаза. И полетели по всем переулкам квартала, разрушая утреннюю тишину, слова поэта, подхваченные эхом:

Ameana puella defututa
tota milia me decem poposcit,
ista turpiculo puella naso,
decoctoris amica Formiani.
Propinqui, quibus est puella curae,
amicos medicosque convocate:
non est sana puella, nec rogare
qualis sit solet aes imaginosum.

Амеана, изъебанная девка,
десять тысяч разом с меня просит,
да, та девка с безобразным носом,
жулика формийского подружка.
Родичи, какие за нее в ответе,
и друзей и лекарей зовите:

помешалась девка, и себя к тому же
в бронзе отражающей не видит.

Так была написана песнь сорок первая, входящая в «Книгу Катулла Веронского» – бесценное сокровище мира.

Novem [42]

Катулл любил думать. Чуть что – ляжет на спину посреди улицы, подсунет ладони под затылок – локти вверх торчат – и принимается думать. Фурий и Аврелий – спутники Катулла – тоже ложились поодаль. И тоже локти вверх выставляли, видя такое дело.

На Фурия и Аврелия прохожие злились, и даже ногами их старались стукнуть побольнее, чтоб не мешали проходу. Катулла же аккуратно обходили стороной – не желали его беспокоить. И только всадник Марк Целий, если натыкался на друга, не церемонился – поднимал его на ноги, усаживал в носилки и вез угощать.

Однажды Целий угощал поэта в наилучшей таверне. Приказал подать яиц со спаржей, голубей, фазана, бараньих лопаток, дроздов, осьминогов, свиную грудинку, колбас горячих, морских ежей, телятину отварную с чесноком и зелеными бобами, хороших зайцев, сыра, рыбы, вина побольше, орехов, меда, груш, черешни, фиников, яблок.

Друзья поели. Целий остался лежать в таверне. А Катулл все-таки вышел наружу.

Он еще прошел по улице некоторое расстояние, а затем лег на спину. Фурий и Аврелий тоже быстро легли. Они лежали тихонько, дожидаясь, когда Катулл встанет и пойдет дальше.

Но Катулл все лежал и лежал. Даже не шевелился. И вдруг перевернулся на бок. Полежал на боку, достал из-под плаща свиток папируса, что-то написал на нем пером и снова откинулся на спину. Какое-то время он размахивал свитком в воздухе – будто сушил чернила, – а потом громко крикнул, не поднимая головы:

– Эй! Вы! Короткий и длинный! Что, не видите?! Я вам машу! Сюда! Ко мне!

Фурий и Аврелий тут же вскочили на ноги, подбежали к поэту и молча склонились над ним.

Катулл посмотрел на них внимательно – на одного, на другого. Потом закрыл глаза, словно устал смотреть, и с закрытыми глазами протянул им свиток:

– Вот письмо. Отнесите его девушке.

– Спасибо тебе, Катулл! – закричали Фурий и Аврелий в один голос и принялись прыгать возле поэта, – до того они обрадовались заданию.

Катулл объяснил им, где живет девушка и как ее зовут. Приказал непременно дождаться от нее ответа и махнул рукой –

мол, идите уже!

Так они и побежали с посланием вдвоем. Фурий держался за одни конец свитка, Аврелий – за другой, чтоб никому не было обидно. Вдвоем же – из четырех рук – они и передали свиток девушке, радостно улыбаясь. Девушка тоже радостно улыбнулась, начав читать послание. Но вдруг лицо ее сделалось красным, сердитым; глаза наполнились слезами. Она схватилась за голову и воскликнула:

– Да как вы смели принести это, мерзавцы!.. Папенька, маменька!..

Не успели Фурий и Аврелий опомниться, как из дверей дома выскочил отец девушки, за ним – мать, братья, сестры, деды, бабки, тетки, дядьки и жених девушки, имевший неподалеку мясную лавку. Все стали читать письмо, передавая его друг другу, стали охать и ахать, кричать на всю улицу:

– Посмотрите, люди добрые, с чем пожаловали эти сволочи!

Наконец отец разорвал свиток в клочья и ударил кулаком сначала Фурия, а затем Аврелия. Оба упали, но тут же поднялись и, не оглядываясь, бросились бежать. Им вдогонку летели камни и палки. Мчались за ними собаки.

А Катулл тем временем лежал там, где лежал. Не открывая глаз, он тихим голосом повторял послание, чтоб не забыть его стихотворные строчки:

Amabo, mea dulcis Ipsitilla,
meae deliciae, mei lepores,
jube ad te veniam meridiatum.
Et si jusseris, illud adiuvato,
ne quis liminis obseret tabellam,
neu tibi lubeat foras abire,
sed domi maneas paresque nobis
novem continuas fututiones.
Verum si quid ages, statim jubeto:
nam pransus jaceo et satur supinus
pertundo tunicamque palliuimque.

Сделай милость, моя сладкая Ипситилла,
прикажи мне, моя радость, моя прелесть,
чтоб пришел отдохнуть к тебе в полдень.
Ну а если уж прикажешь, позаботься,
чтоб никто на засов не запер двери
и самой чтоб не взбрело на ум исчезнуть:
дома жди меня и приготовься – сряду
девять раз тебе я вставлю. А по правде,

приказать должна ты поскорее:
закусил я сытно, на спине валяюсь,
протыкая насквозь палий и тунику.

Так была написана песнь тридцать вторая, входящая в «Книгу Катулла Веронского» – бесценное сокровище мира.

Gemelli fratres [43]

Отец поэта – веронский магистрат – всегда переживал, что сын не пристроился к делу в Риме. Все ему казалось, что Катулл бездельничает там день и ночь. Бабка Петрония, напротив, называла внука большим тружеником, выдумывая, что он служит в коллегии квесторских писцов, но иногда забывалась – не помнила своих выдумок, – вдруг начинала причитать:

– Как-то теперь там наш Катуллушка?… Что-то он поделывает в Риме?… Работает ли он где?…

– Нигде не работает! – сердился отец. – Ничего не делает! Баклуши бьет!

Однажды бабка Петрония написала Катуллу о таком разговоре с родителем. Катулл, получив письмо, долго не раздумывал – бросил маленькую собачку, с которой гулял в это время по городу, нося ее в тесной коробке, чтоб она громко визжала, раздражая прохожих, и помчался в Верону на легкой двуколке, запряженной парой лошадей, – сначала по Фламиниевой дороге, потом по Эмилиевой – до Мутины, потом напрямик по проселкам сквозь Паданскую степь – сквозь ветер и пыль. Примчался и сразу – в дом к отцу. «Где он?» – спрашивает в прихожей. Слуги говорят: «Нет хозяина. Уехал на озеро. А вы отдохните с дороги». Но Катулл даже и не подумал отдыхать. Снова запрыгнул в двуколку и полетел на Бенакское озеро, на кончик мыса Сирмион, на отцовскую виллу. Там узнал, что отец находится в кабинете – играет в шашки с Цезарем, явившимся погостить, – забежал в кабинет и выпалил:

– А что я в Риме стихи сочиняю, как проклятый, то вы за дело не считаете, батюшка?!

Батюшка ответил:

– Не считаю.

А потом указал обеими ладонями на Цезаря и добавил:

– Вот и Гай Юлий Цезарь, мой старинный товарищ, консул Рима, славный полководец, тоже не считает.

Но Цезарь не стал поддакивать веронскому магистрату. Взял и объявил:

– А я стихи люблю! Да и сам пишу. И офицер у меня есть такой – Мамурра, родом из города Формии, грамотный очень, – тоже стихи пишет.

– Стихи-стихи… пишет-пишет… – принялся бормотать отец Катулла, оторвав от доски фигурку. Подержал ее в воздухе некоторое время, потом сделал ход.

Цезарь сделал ответный ход. И вдруг обрадовался,

воскликнул:

– Остановили мы вашего разбойничка! Взяли его в плен!

Батюшка Катулла изменился в лице, нахмурился. А Цезарь стал шевелить пальцами над доской, говоря:

– Закрыли мы вашему ординарию путь в императоры! Закрыли! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Потом откинулся на спинку кресла и принялся рассказывать про походы, про разные страны. Про то, как случались в походах всякие трудности. Как болел много раз и тем, и этим, и всякой дрянью. Как нападали враги и дикие звери. Как переносил другие страдания и лишения – мерз в горах, голодал в степи, ночевал в лесу на одной кровати вот с этим самым Мамуррой, простым армейским прорабом, который пишет стихи. Слово за слово, речь зашла о Катулле. О том, что стихи, конечно, стихами – стихи Цезарь любит, – а все-таки работать где-нибудь надо. И Цезарь, быть может, куда-нибудь пристроит Катулла, – или курьером к эдилу, или писарем к квестору, или вот хотя бы к Мамурре в помощники.

Батюшка Катулла только кивал в ответ, повторяя:

– Hoc quidem satis luculente![44]

А сам даже взгляда от шашек не отводил. Цезарь тоже неотрывно смотрел на фигурки, произнося свою речь.

Когда же полководец замолчал и наступила тишина, оба игрока услышали звук – дыз-дыз-дыз… дыз-дыз-дыз, – будто кто-то стучит зубами в ознобе. Глянули – а это Катулл стучит зубами. Да к тому же еще трясется всем телом и выглядит ужасно – руки вскинуты вверх, пальцы скрючены, голова запрокинута, глаза закрыты; по лицу пробегают разные гримасы.

Батюшка в страхе закричал на весь дом:

– Петрония! Что с ним?! Сюда! Скорее!

Цезарь тоже забеспокоился. И тоже громко закричал:

– Эй! Люди! Лекари! Стража! Ко мне!

Прибежали рабы, приживальщики, подручные Цезаря. Явилась вся домашняя челядь. Все окружили кольцом Катулла. Началась толкотня, давка.

В толпе стали выкрикивать:

– Петронию! Петронию пропустите! Она знает!

Бабка Петрония выскочила из толпы на средину круга, прошлась туда-сюда, поглядывая на Катулла. Потом махнула рукой.

– Зря шум подняли, – сказала спокойно. – Стих у него пошел.

Батюшка Катулла вздохнул облегченно:

– Слава Юпитеру, всё в порядке!

Но Цезарь не успокоился. Стал расспрашивать тревожно:

– Как стих?! Как пошел?!

– А вот так, – ответила Петрония, – стих у него шевелится в груди, сейчас полетит наружу.

И снова махнула рукой – не беда, мол.

Тут и Цезарь вздохнул с облегчением. Радостно сказал:

– Стих – это хорошо! Стихи мы любим! У меня, вот, и Мамурра стихи пишет!

Потом поинтересовался:

– А долго ли ждать?

Петрония в ответ:

– Не знаю. Никто не знает. А торопить нельзя.

Но в Цезаре эти слова только азарт распалили.

– Что за чепуха! – возразил он. Подбежал поближе к Катуллу, захлопал в ладоши и начал выкрикивать: – Perge! Perge![45]

Толпа зашевелилась, загудела, подхватила:

– Perge! Perge! Perge!

Катулл вдруг открыл глаза и с силой топнул ногой. Все в тот же миг замолчали, замерли. Несколько минут в доме стояла тишина. Когда же стих полетел из груди поэта, Цезарь и сам затрясся, застучал зубами; стал мотать головой, восклицая:

– Qui te Juppiter diique omnes perduint!.. Pulmoneum vomitum vomas![46]

Но заглушить стих было невозможно. Катулл произносил его громко и ясно:

Pulcre convenit improbis cinaedis,
Mamurrae pathicoque Caesarique.
Nec mirum: maculae pares utrisque,
urbana altera et illa Formiana,
impressae resident nec eluentur:
morbosi pariter, gemelli utrique,
uno in lecticulo erudituli ambo,
non hic quam ille magis vorax adulter,
rivales socii puellularum.
Pulcre convenit improbis cinaedis.

Славно снюхались два гнусных педераста,
два распутника – Цезарь и Мамурра.
И не диво: оба ходят в скверне —
этот в римской, тот в формийской, – крепко
въелась в них она, ничем её не смоешь.
Близнецы они – одной страдают хворью;
спят в одной кроватке; оба грамотеи.
И не скажешь, кто из них блудливей, —

девкам римским оба конкуренты!
Славно снюхались два гнусных педераста.

Так была написана песнь пятьдесят седьмая, входящая в «Книгу Катулла Веронского» – бесценное сокровище мира.

Языки Нимродовой башни

I. Язык народа йон

Из всех народов, строивших вавилонскую башню, народец йон был самый безалаберный. Йонцы ничего не делали на строительстве. Только песни пели – мол, песня строить и жить помогает. Когда же Всевышний, пресекая затею строителей, сотворил множество языков (раньше говорили на одном), йонцам достался такой, в котором было пять слов – «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Но йонцы не унывали – сложили на своем языке тысячи песен, стихов; создали эпос. Существует на йонском философский трактат: «Жирафозаусенчатая вечность».

II. Язык народа зибур

Зибурский язык – громадный. В нем восемьсот миллионов слов. Столько же было кирпичей в вавилонской башне. Зибурцы их обжигали – такая у них была работа. На зибурском поименовано всё. Есть слово, которым обозначается «заостренная часть вишневой косточки», – *кунстака*; а также слово *абью* – «прикосновение кунстаки к чувствительным участкам нёба». Есть слово *бумома* – «сеть небольших лунок, оставленных дождем на песке»; а также слово *чикма* – «неожиданно возникающее желание увидеть вблизи какую-либо маленькую статуэтку». Выражение «нет слов» представляется абсурдным любому носителю зибурского языка. Слова есть всегда. Зибурцы любят и воспевают язык, называют его *бибасху* – «входящий во все подробности зримого и незримого мира». Не любит его только солдат-чужестранец – персонаж народной сказки, мгновенно овладевший им при помощи заклинания, чтоб обольстить зибурскую девушку. Он поносит язык за то, что он *чебечку* – «убийственно богатый» и *феоцбу* – «не позволяющий ничего утаить для бессловесного чувствования и видения». Затем снова прибегает к заклинанию, чтоб навсегда забыть зибурский. Но вместо этого превращается в *мульми* – «маленькие катышки снега, налипшие на поверхность шерстяной одежды».

III. Язык народа югурунд

Югурунды плохо разговаривали на едином языке Адама, которым владели все строители вавилонской башни. Если человек от рождения не был югурундом, то он не понимал ни слова из того, что произносили представители этой нации. Даже царь Нимрод, вдохновитель строительства, обладавший чутким ухом зверолова, не мог разобрать, о чем говорят югурунды. Он лишь раздражался, а иногда свирепел, слушая, как они что-то мямлят, что – то бормочут, выполняя совершенно ненужную работу, – югурунды вырезали из листьев кружочки и приклеивали их слюнями к наружной части деревянных коробок, служивших для формовки глиняных кирпичей. Уже к средине четвертого года строительства (башню возводили 70 лет) Нимрод издал указ, в котором говорилось: «Пусть югурунды не облекают свои мысли ни в какие звуки в пределах долины Сеннаарской, где строится башня до небес». Югурунды так и проработали молча до дня пресечения строительства. Они заговорили, пережив гнев Господа и рассеяние народов, уже на своем – югурундском – языке. «Замолчали на югурундском», как сказано в летописи этого народа. Подразумевается то обстоятельство, что любое югурундское слово представляет собой определенный, но бессмысленный набор звуков. Смыслом обладает молчание. Именно оно составляет фундамент югурундской речи. Например, югурундские слова, или, говоря более строго, похожие на слова звуковые комплексы *явин* и *калахур* сами по себе ничего не значат. Но если произнести – *явин*, а затем, промолчав ровно одиннадцать секунд, произнести – *калхур*, то возникает прилагательное «бессмертный».

Югурунды во время разговора не высчитывают, сколько времени длится смысловая пауза. Чувство длительности молчания дано им от рождения. Иностранцы лишены возможности говорить на югурундском или воспринимать его на слух. Однако письменным языком овладеть удается, так как исчезает главное препятствие устного языка – то, что югурундские грамматики называют молчанием, осеменяющим слова. На письме оно изображается примитивно – пробелом определенной длины. Имея измерительный инструмент, можно легко распознать уже упомянутое прилагательное «бессмертный». Оно рождается при расстоянии в девять миллиметров между последним знаком «слова» *явин* и первым знаком «слова» *калахур*. Сами югурунды при чтении и письме воспринимают и воспроизводят значимые интервалы без каких-либо

вспомогательных средств. И лишь «пращуры, видевшие смерть Нимрода, – сообщает югурундская летопись, – клали в пробелы, чтобы знать расстояние между словами, головы муравьев».

IV. Язык народа цоог

Цооги были очень бодрым и работящим народом. Едва проснувшись (все строители спали прямо на стройке, на разных ярусах вавилонской башни), цоогские мужчины, женщины, старики и дети брались за работу. Цооги поднимали грузы при помощи кранов и лебедок. В день смешения языков цооги пробудились первыми и первыми же заговорили – стали громко выкрикивать: «Ярья! Зёба!» Однако другие народы, разбуженные этими выкриками, поначалу не догадались, что у цоогов теперь отдельный язык. Потому что слова *ярья* и *зёба*, не являлись исконно цоогскими. Они принадлежали всеобщему языку, который хотя и улетучился из ума всех строителей, но все же оставил там неизгладимые следы. Слово *ярья* на едином языке Адама означало «опускай! майна!», *зёба* – «поднимай! вира!».

Эти термины сохраняли свое первоначальное значение и в цоогском. Но совсем недолго. Уже к вечеру слово *ярья* стало обозначать на языке цоогов «камыш», а *зёба* – «сновидение».

Такова особенность цоогского языка – в нем не существует слов, которые обладали бы устойчивым значением более, чем восемнадцать часов подряд.

Цооги не в состоянии объяснить носителям других языков, каким образом они улавливают постоянно меняющиеся значения цоогских слов. Сами они считают свой язык подлинно живым, восхитительно подвижным, необыкновенно текучим и т. п. Дух смысла, говорят цооги, не должен задерживаться в словесных оболочках – ему положено совершать беспрерывное движение сквозь материю слов. Именно это и происходит в цоогском. Все слова в нем подразделяются на три категории – легкие, тяжелые и невесомые. К легким относятся те, которые свободно пропускают сквозь себя разнообразные смыслы, то есть не несут в себе ни малейших отзвуков предыдущих значений. Например, существительное *цоык* в данный момент означает «фуражка» – и больше ничего. При этом неизвестно, являлось ли слово *цоык*, скажем, сутки назад существительным, или оно было междометием со значением «увы».

К категории тяжелых относятся слова, в которых прошлые смысловые значения сохраняются – «удерживаются, точно эхо в пещере», растолковывают цооги. Например, слово *эвегел* имеет в настоящую минуту четыре значения одновременно – «герб», «кровать», «лягушка», «великодушный»; в нем также просматривается пятое, нарождающееся, значение – «дядя», которое должно будет в скором времени вытеснить («выгрузить»)

значение «герб». Древнейшие слова *ярья* и *зёба* являются в цоогском самыми тяжелыми. Они имеют в любой момент времени по сто двадцать действительных и по тридцать нарождающихся значений. Это создает вокруг них мистический ореол – слова считаются священными.

Категорию невесомых составляют слова, которые к определенному моменту времени полностью утратили старое значение, но еще не обрели новое. Это самые летучие, самые неуловимые, самые призрачные слова цоогского языка. Их жизнь длится всего полторы-две минуты, – столько времени они остаются свободными от смыслов – «парят без груза», говорят цооги. Парение прекращается в тот миг, когда невесомые слова обретают некоторые непредсказуемые значения и переходят таким образом в категорию тяжелых или легких.

Феномен невесомости всегда привлекал цоогскую поэзию, которая не признаёт стихов, созданных из слов с заранее известными значениями. Настоящая цоогская поэзия сродни игре в кости. Поэт очень быстро – за одну минуту – конструирует стих из невесомых, временно бессмысленных, слов. И если в следующую минуту конструкция вдруг обретает по воле случая (или, как считается, в силу любви Бога к поэту) стройный смысл, это вызывает взрыв восторга в душе удачливого стихотворца и двух его читателей, – два постоянных читателя, являясь своего рода чиновниками, всегда находятся рядом с цоогским поэтом, чтоб зарегистрировать чудо рождения стиха.

Ухвэц керема, юдуц керемел
Гумарга базоцо веледа, —
Ангер урдыыц, кева качаэл,
Хевер бигироц цумеледа.

Вот образец парящей цоогской поэзии.

Все слова в этом четверостишии через минуту обретут значение. Свяжутся ли они, породив внятный смысл, – неизвестно.

V. Язык народа орзак

Чем именно занимались орзаки на строительстве вавилонской башни, не знал ни один из тех правителей, которые участвовали в затее Нимрода. Не знал этого и сам царь Нимрод, следивший за всеми работами. Случалось, что ему попадались на глаза орзаки, которые один за другим подвозили на тележках к башне засушенных змей. Но на следующий день все орзаки буравили дыры в громадном камне, лежавшем неподалеку от стройки, и на вопрос царя Нимрода о назначении засушенных змей отвечали, что до змей им нет никакого дела.

Орзаки очень много говорят и пишут. Однако лишь небольшая часть из того, что они произносят и облекают в письменные знаки, является осмысленной речью. Все остальное относится к реликтовому языковому шуму – особого рода звукам, сохранившимся от большого языкового взрыва. Взрыв случился как раз в тот день, когда орзаки принялись за новую работу. Они закапывали в большую яму, вырытую ими накануне, вареные абрикосы, живых гусей и эмалированные изразцы для облицовки башни. Работа орзаков изумила на этот раз не только царя Нимрода. Работников обступили со всех сторон разные народы, уже наделенные собственными языками, но еще не знающие об этом. Народы вдруг закричали все разом, что-то гневно спрашивая у орзаков и показывая на яму. Орзаки были потрясены фантастической смесью непонятных звуков. Они выронили из рук лопаты, сели на землю возле ямы и втянули головы в плечи. Так они просидели до полудня, слушая, как вокруг них говорят народы.

В полдень, когда говорение достигло такой громкости, что нельзя было уже расслышать ни песен йонцов, ни командных выкриков цоогов, которые продолжали по привычке поднимать лебедками грузы, орзаки быстро уложили на телеги свое имущество, крикнули лошадям: *«Яц-яль-губо-хельц!»* («Но!») и навсегда покинули долину Сеннаарскую.

Реликтовый языковой шум, в состав которого входят искаженные обрывки слов различных языков, в современном орзакском обнаруживается с наибольшей явственностью – гораздо явственней, чем в любом другом языке мира. Орзакский затоплен этим неумолкающим шумом, который неуклонно воспроизводится в речи любого орзака. Говорить по-орзакски означает встраивать орзакские слова в поток бессмысленных звуков, который рождается сам собой при малейшем намерении орзака что-либо сказать.

«Цуа-куугунь-кульшивик-лаанаж-нурган-эбе-яйя-фелич-яйя-поосихва-уривон-фебеиж-чезьма-инц!»

Это приветствие диктора национального радио.

Орзакскими словами здесь являются только прилагательное *эбе* – «добрый» и существительное *поосихва* – «вечер». Но если эти слова – *эбе поосихва* – будут произнесены сами по себе, то не один орзак не воспримет их как слова, они покажутся ему причудливым сочетанием звуков, возникших в колдовской пустоте. Такова связь этого языка с реликтовым языковым шумом. Без него орзакского языка не существует, как не существует пения без дыхания. Шум же обходится и без озаркского языка. Этому есть неоспоримое доказательство. Орзаки иногда говорят часами, не встраивая в языковой шум ни единого орзакского слова.

VI. Язык народа качивикэснакбуйдовир

Большинство слов качивикэснакбуйдовирского языка так длинны, что его носители стараются лишний раз не разговаривать. Даже местоимение *биёчхильмосавирбаабаша* – «я» – обходят стороной. Не любят якать. Предпочитают говорить о себе – да и вообще обо всем на свете – *юбохорвильбуаб* – «оно». Это самое короткое слово качивикэснакбуйдовирского языка. Его с удовольствием произносят и в младенчестве, и в глубокой старости, – иногда даже без всякой надобности. «Онокают, чтоб было оно», как гласит народная мудрость. Народная же песня трактует иначе: «Онокают – окликают мир».

В песне поется о далеких предках качивикэснак-буйдовиров. О том, как во время вавилонского столпотворения они сидели на земле, тесно прижавшись друг к другу, рядом с башней и выкрикивали на языке Адама: «Оно! Оно!» Потом качались из стороны в сторону всем народом. Больше ничего не делали.

VII. Язык народа кивоз

За время вавилонского столпотворения кивозы не произнесли ни слова на языке Адама, только мычали – «муым-муым», – когда злились на тех, кто ради забавы мочился или кидал песок в костры, которые они жгли вокруг башни, постоянно поддерживая в них огонь, – в этом состояла работа кивозов, не умевших говорить от рождения.

Теперь кивозы говорят всегда – днем и ночью, во сне и наяву. Так устроен кивозский язык: слова произносятся беспрерывно. Остановить говорение на кивозском без последствий для говорящего невозможно. Если кивоз замолчит на продолжительное время хотя бы однажды в жизни, он больше не заговорит никогда – ни на кивозском, ни на каком-нибудь другом языке, – останется немым.

Среди кивозов не часто встречаются люди, которые потеряли дар речи от того, что им по какой-то причине случилось замолчать. Кивозы избегают таких случайностей. Они оберегают язык от губительного молчания. Любой кивоз знает наизусть все 170 тысяч слов, которые содержит «Сводный словарь современной кивозской лексики». Звучание кивозсских слов не прекращается. Кивоз проговаривает их в алфавитном порядке – от первого – *абеб* («веранда») до последнего – *цуцур* («песня») – около 10 раз за месяц.

Некоторые, кроме слов, ничего больше не произносят – никаких фраз, никаких предложений. Именно такие люди считаются у кивозов самыми вдохновенными хранителями языка – чистого языка, не замутненного человеческим мышлением.

VIII. Язык народа чудлай

У чудлайцев, которые семьдесят лет подряд били каждое утро в барабаны, созывая на работу народы, строившие вавилонскую башню, нет совсем никакого языка. Тот язык, который им даровал Господь и который назывался чудлайским, они забыли. Есть только один пожилой чудлаец, помнящий слово *тутьявурвасабал* («пуговица»). Но с какой бы старательностью он его ни выговаривал, обращаясь к другим чудлайцам, те лишь приветливо улыбаются и ласково жмурят глаза в ответ, не понимая единственного в мире уцелевшего чудлайского слова.

IX. Язык народа зёльк

Зёльки не знали, что на земле Сеннаар строится башня до неба, хоть и делали для нее сырые кирпичи. Не знали и знать не хотели. Такие были люди – лепили кирпичи и ни о чем не думали. Любили не думать. Когда у них появился отдельный язык, они полюбили это занятие еще больше. Язык не мешает, а наоборот, помогает зёлькам предаваться бездумью. «Зёлькский язык сам думает за зёльков» – гласит зёлькская поговорка.

Поговорками, пословицами и фразеологизмами является на поверку всё, что говорят и пишут зёльки. Свободных словосочетаний в зёлькском языке не существует. Не существует и свободных слов. Нет таких зёлькских словарей, в которых бы слова были представлены сами по себе. Нет и таких мыслей у зёльков, которые бы нуждались в самосущих словах. В учебнике зёлькского языка (который целиком состоит из фразеологических выражений) среди прочего говорится: «Глина и рубленая солома становятся кирпичом только в формовочной коробке. Звуки и буквы становятся словом только в устойчивом обороте».

Разумеется, зёльк может взять и произнести нечто такое, что в зёлькском языке не имеет хождения в качестве готового выражения, например: *«Асиви велейва коче буливани бюс!»* – «По небу летит простой [не цветной] карандаш!». Но для этого, во-первых, зёльк должен совершить насилие над своим умом. А во-вторых, другие зёльки не воспримут это вольное говорение как осмысленный речевой акт. Им покажется, что они слышат бесконтрольно издаваемые звуки, подобные невнятному бормотанию во сне. Если сказанное будет записано, то зёльки увидят знакомые буквы, соединенные в группы. И больше ничего.

В то же самое время достаточно выразиться немного иначе, а именно – сказать: *«Асиви велейва коче буливани яльс!»* – «По небу летит цветной [любого цвета] карандаш!» – и всё станет на свои места. Высказывание сделается не только понятным, но и привычным для всякого зёлька, владеющего родным языком. В таком виде оно представляет собою распространенный фразеологический оборот, который означает: «Что-то странное/неясное/никчемное/удивительное происходит в воздухе над головой».

X. Язык народа удбор (несуществующего)

Удборский язык живет сам по себе. Народа удбор нет и никогда не было в мире. Удборскому не нужны носители. Так его сотворил Господь. Язык носится во Вселенной сам собою – без говорящих и пишущих.

notes

Примечания

1

Здесь и далее курсив в цитатах мой (*прим. автора*).

2

Здесь и далее перевод стихов Овидия по изданию: Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М.: Наука, 1978.

З

За постыдное почитают повиноваться младшему (*лат.*).

4

Принцип индивидуации (*лат.*).

5

«Артур Шопенгауэр, с медицинской точки зрения рассмотренный» (*нем.*).

6

Стадия обострения (*лат.*).

7

Злые ямбы (*лат.*).

8

Перевод В. Отрошенко.

9

Перевод В. Отрошенко.

10

Перевод С. Шервинского.

11

Перевод С. Шервинского.

12

Со своим супругом и братом (*лат.*).

13

Перевод З. Морозкиной.

14

Перевод С. Шервинского.

15

Перевод М. Амелина.

16

Перевод А. Пиотровского.

17

Перевод А. Пиотровского.

18

Блистательный (*лат.*) – эпитет, входивший в официальный титул римского всадника.

19

Белокурая богиня (*лат.*).

20

Общая любовь (*лат.*).

21

Перевод С. Шервинского.

22

Перевод В. Отрошенко.

23

Перевод А. Пиотровского.

24

Перевод С. Шервинского.

25

Перевод Ф. Петровского.

26

Он ее взволновал (*фр*.).

27

Андрей Платонов. Записные книжки. – М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000.

28

Красное… черное (*фр.*).

29

Доклад, прочитанный 14 ноября 2003 г. на международном конгрессе «Post-Scripta» в университете Болоньи.

Извозчкик (*ит.*).

31

Империя – принцип, она неделима (*фр.*)

32

Eugene Onegin. A novel in verse Aleksandr Pushkin / Translated from Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokow. In 4 vol. New York, 1964.

33

Свита (лат.).

34

Свита Катулла (*лат.*).

35

Катулл разыгрывает из себя консула! Ха-ха! (*лат.*)

Здесь и далее – перевод с латинского В. Отрошенко.

37

Кара, наказание (*лат.*).

38

Какой он на вид?! Какой он на вид?! (*лат.*).

39

Изъебанная девка (*лат.*).

Дал ли ему кто-нибудь хоть один грош? (*лат.*)

41

Отлично! (*лат.*)

42

Девять (*лат.*).

43

Близнецы (*лат.*).

Вот это дельно! (*лат.*)

45

Давай! Давай! (*лат.*)

46

Чтоб тебя Юпитер и все боги погубили!.. Чтоб тебя легкими вырвало! (лат.)